



Гиббон Льюис Трассик

Закатная  
песнь

# Льюис Грассик Гиббон

## Закатная песнь

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=23284297](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=23284297)*

*ISBN 9785448387593*

### Аннотация

Роман Льюиса Грассика Гиббона «Закатная песнь», впервые опубликованный в 1932 году – это история о том, как в жизнь шотландской деревни, с её фермерскими радостями и невзгодами, вторгается Первая мировая война. Это рассказ о том, как девушка по имени Крис Гатри, дочь мелкого фермера, пытается найти и сберечь себя, свою любовь и семью посреди рушащегося старого мира. Книга дважды экранизировалась: в 1971 году в виде телесериала и в 2015 как полнометражный фильм Теренса Дэвиса.

# Содержание

Примечание	5
Прелюдия	6
Песнь	49
I	49
II	113
Конец ознакомительного фрагмента.	116

# Закатная песнь

**Льюис Грассик Гиббон**

*Посвящается Джин Бакстер*

*Переводчик* Роман Дмитриевич Стыран

© Роман Дмитриевич Стыран, перевод, 2017

ISBN 978-5-4483-8759-3

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

# Примечание

Если бы великий нидерландский язык исчез из литературного обихода и некому голландцу пришлось бы писать по-немецки историю из жизни Лексайдских крестьян, вполне вероятно, что он бы ожидал и в итоге снискал бы известную долю снисхождения со стороны читателей к плоду своих трудов, сотворённому при помощи немецкого языка. Он мог бы перенести на свои страницы некоторое музыкальное звучание или совсем уж непереводимые слова и идиомы – непереводимые, за исключением тех случаев, когда смысл их понятен из контекста и из расположения в тексте. Он мог бы определённым образом подогнать немецкий язык под ритм и темп родного наречия, на котором говорят его крестьяне. Но большего, если объективно относиться к его возможностям, он вряд ли смог бы добиться – попытка произвести впечатление каскадом апострофов обернулась бы не только бестактностью по отношению к читателю, но и погрешностью в передаче смысла.

Любезность, которую такой гипотетический голландец снискал бы со стороны языка немецкого, шотландец вправе испрашивать у великого английского языка.

Л. Г. Г.

# Прелюдия

## Непаханое поле

Земли Кинрадди были заполучены одним норманским парнем, Коспатриком де Гондешилом, во времена Вильгельма Льва<sup>1</sup>, когда грифоны и подобные им твари шныряли ещё по шотландским полям и лесам, и люди порой вскакивали в постелях, разбуженные криками собственных детей, которых терзал, вцепившись им в горло, какой-нибудь здоровенный волчара, пролезший в окошко. В Кинраддской Берлоге у одной такой твари было логово, днём она болталась по лесам, и по всей округе от неё расползалась чудовищная вонь, и на закате какой-нибудь пастух мог увидеть, как она, прикрывая исполинскими крыльями огромное брюхо и здоровенную петушиную голову, снабженную ушами льва, высывалась из-за ёлки, что-то высматривая. И она пожирала овец и людей, и наводила на всех неподдельный ужас, и Король велел своим герольдам объявить о награде тому рыцарю, который поедет и положит конец бесчинствам этой твари.

Тогда этот парень из норманнов, Коспатрик, молодой, без-

---

<sup>1</sup> Вильгельм I Лев – король Шотландии из Данкельдской династии, правивший с 1165 по 1214 год. Прозвище «Лев» получил из-за своего штандарта, несшего изображение восстающего красного льва в золотом поле, которое с тех пор стало гербом Шотландии (здесь и далее – примечания переводчика).

земельный, ужасно смелый и прекрасно вооружённый, оседлал в Эдинбурге коня и отправился из чуждых южных пределов на север, через Файфский лес, пастбищами Форфара, мимо Больших Камней в Аберлемно, воздвигнутых в те времена, когда пикты побили данов. И подле этих камней он становился и рассматривал вырезанные на них фигуры – отчётливо различимые в то время, да и сейчас не особо поблекшие – лошадей, мужчин, бегущих в атаку, и убегающих с поля битвы мерзких чужеземцев. И вполне возможно, что он произнёс короткую молитву у тех Камней, а потом двинулся в Мирнс<sup>2</sup>, но предание о его странствиях больше ничего не рассказывает, а гласит, что в итоге он добрался до Кинрадди, того самого исстрадавшегося селения, и ему указали место, где ночевал грифон – ту самую Кинраддскую Берлогу.

Однако в дневное время чудище скрывалось в лесу, и только ночью, по тропе, шедшей через заросли граба, можно было к нему подобраться, пока оно валялось на обглоданных костях в своём логове. И Коспатрик дождался ночи, чтобы верхом подобраться к Кинраддской Берлоге, и, поручив свою душу Богу, сошёл с коня, и взял в руку рогатину, и вошёл в Берлогу, и убил грифона. И послал он известие о том Вильгельму Льву, который восседал в Эдинбурге, пил вино и ласкал прелестных дев, и Вильгельм сделал его Владетельным Рыцарем Кинрадди, и даровал ему все земли этого обширного прихода, и дозволил ему построить там замок и но-

---

<sup>2</sup> Мирнс – Мирнская долина (Mearns Hove) расположена на юге Абердиншира.

сидеть на гербе изображение головы грифона, и велел ему держать в смирении всех тамошних тварей и люд непокорный – ему и потомству плоти его, навечно.

Так Коспатрик обзавелся пиктами, чтобы соорудить близ холмов крепкий замок, за которым неясно темнели Грампианские горы, и высушил он Берлогу, и взял в жёны пиктскую знатную госпожу, и произвёл с ней отпрысков, и жил там, пока не помер. И сын его принял имя Кинрадди, и однажды посмотрел он со стены замка и увидел Графа-Маршала, двигавшегося с юга, дабы присоединиться к горцам в битве, что произошла при Мондинсе, где сейчас стоит мельница; и взял он свою рать и бился там, хотя на какой стороне – летописи не сообщают, но, наверняка, это была побеждавшая сторона – Кинрадди всегда были парнями толковыми и хитрыми.

И правнук Коспатрика ополчился вместе с англичанами против разбойника и татя Уоллеса<sup>3</sup>, и когда Уоллес как-то раз шёл из южных земель, Кинрадди и другие тогдашние знатные господа взяли и заперлись в замке Данноттар, что выдается в море ниже Киннеффа, замке добротнo построенном и крепком, море плещется у подножия его в час прилива, и чайки стенают там день и ночь. Множества еды и мяса, и добра всякого взяли они с собой, и обосновались там весьма прочно, они и их слуги из крестьян, и опустошили

---

<sup>3</sup> Уильям Уоллес (1270—1305) – шотландский рыцарь, один из лидеров шотландцев в Войнах за независимость. Часто ему ошибочно приписывают прозвище Храброе Сердце, принадлежавшее Роберту Брюсу, другому шотландскому лидеру, впоследствии ставшему королём Шотландии.



весь Мирнс, так что Разбойник и Тать, дерзнувший восстань против превосходнейшего английского короля, не мог найти прокорма для войска своего, состоявшего из подлого и безземельного люда. Однако Уоллес весьма быстро миновал Долину, и прослышал про Данноттар, и осадил его, а место это было, и впрямь, неприступное, а он был нетерпелив, когда имел дело с неприступными местами. Поэтому посреди ночи, когда рокот моря заглушал шум и топот его тайком подбиравшегося войска, взобрался он на скалы Данноттара и перебрался через стену, он и его бродяги-шотланцы, и взяли они Данноттар, и перебили собравшихся там знатных господ и всех англичан, и разграбили их запасы съестного и всякое добро, и ушли прочь.

В Замок Кинрадди в тот год, рассказывают, только что вошла хозяйкой юная невеста, и не было у неё потомства плоти её, и шли месяцы, и поехала она в Аббатство Аберброток, добрый аббат которого, Джон, доводился ей кузеном, и поведала ему о своей беде и о том, что род Кинрадди мог того гляди иссякнуть. И вот возлѣг он с ней, был тогда сентябрь, и на следующий год родился у юной невесты мальчик, и с той поры Кинрадди не помышляли уже о войнах и сварах, а сидели тихо в своем замке близ холмов со своим добром, красавицами-девицами и вышколенным для услужения мужичьѣм.

И когда пришла Первая Реформация, а за ней – другие Ре-

формации, и когда одни кричали *Виггам*<sup>4</sup>!, а другие кричали *За Рим!*, и некоторые *За короля!*, Кинрадди сидели себе тихо, чинно и мирно в своём замке и плевать хотели на эти, творившиеся в народе, свары, ибо война – дело небезопасное. Но потом пришёл Голландец Вильгельм<sup>5</sup>, который, бывало, уж если на чём порешил, так с места его не сдвинешь, и Кинрадди тут же все стали ратовать за Ковенант<sup>6</sup>, у них, ясное дело, Ковенант с Богом искони жил в сердце, говорили они. Так что возвели они новую кирку на месте часовни и построили подле неё Пасторский Дом, в том месте, среди тисов, где прятался разбойник и тать Уоллес, когда англичане, наконец, обратили его в бегство. И один из Кинрадди, Джон Кинрадди, уехал на юг и стал большим человеком при дворе в Лондоне, и водил дружбу с парнями по имени Джон-

---

<sup>4</sup> Whiggam – боевой клич Ковенантистов, участников шотландского национального движения в защиту пресвитерианства. Слово это изначально использовалось как понукание для лошадей. В бою Ковенантисты кричали своим лошадям Whiggam!, и постепенно слово переросло в боевой клич. Позже, во второй половине XVII века, от него произошло название партии Виггов (Whigs), сторонников «Билля об отводе», закона, отстранявшего от Престола Короля из шотландской династии Стюартов Якова II, исповедовавшего католицизм. Противниками Виггов были Тори, поддерживавшие Якова II.

<sup>5</sup> Голландец Вильгельм – сменивший Якова II протестантский король Вильгельм III, до восшествия на британский престол бывший штатгальтером Голландии.

<sup>6</sup> Ковенант – центральное понятие шотландского пресвитерианства, состоящая в идее избранности шотландского народа и необходимости заключения договора, Ковенанта, между Богом и народом по примеру Ветхозаветного иудейского народа.

сон и Джеймс Босуэлл<sup>7</sup>, и однажды эти двое, Джон Кинрадди и Джеймс Босуэлл, приехали в Мирнс, имея в виду славно отдохнуть, и сидели ночи напролёт, распивая вино и ведя непотребные разговоры, пока не утомляли старого лэйрда<sup>8</sup>, и тогда они смывались и, как Джеймс Босуэлл изложил это в своем дневнике, *всходили в верхний этаж, где были девы, и одна из них, Пегги Дундас была пышна в ягодицах, и я воґлежал с ней...*<sup>9</sup>

Но в начале девятнадцатого века для шотландского джентри<sup>10</sup> настали скверные времена, ибо отрава Французской Революции пришла из-за морей, и крофтеры<sup>11</sup> и прочий простой люд навроде них подымались и кричали *Идите к чёрту!*, пока Старая Церковь<sup>12</sup> проповедовала со своих кафедр о смирении. Дошла эта отрава до самого Кинрадди, и тогдашний молодой лэйрд, звался он Кеннет, так вот он заявил, что он якобинец, и вступил в Абердинский якобинский клуб,

---

<sup>7</sup> Сэмюэл Джонсон (1709 – 1784) – английский поэт, литературный критик и лексиколог. Его биографом и другом стал шотландский писатель Джеймс Босуэлл (1740 – 1795)

<sup>8</sup> Лэйрд – laird (шотл.), шотландский феодал, владелец поместья, как правило, с замком или господским домом.

<sup>9</sup> «..., Пегги Дандас, была пышна в ягодицах, и я возлежал с ней».

<sup>10</sup> Джентри – Gentry, нетитулованное мелкое дворянство, занимающее промежуточное положение между знатью и богатым крестьянством.

<sup>11</sup> Крофтеры – Crofters, мелкие фермеры, арендующие небольшие земельные наделы.

<sup>12</sup> Старая Церковь Шотландии – Auld Kirk of Scotland, пресвитерианская Церковь Шотландии, основная протестантская деноминация в стране.

и там, в Абердине, во время восстания его чуть не убили за ради свободы, равенства и братства, как он это называл. И привезли его обратно в Кинрадди калекой, но он по-прежнему твердил, что все люди свободны и равны, и что он, мол, порешил продать имение и отослать деньги во Францию, ибо сердце у него было действительно доброе. И фермеры пошли толпой на замок Кинрадди и повыбивали окна, полагая, что равенство должно начаться дома.

Более половины всего имения по капле разошлось на то на сё, пока этот калека сидел и почитывал свои непотребные французские книжонки, но никто об этом не догадывался, покуда он не помер и вдова его, бедная женщина, не обнаружила, что земель у неё во владении осталось не более тех, что лежали между крутыми горами, Грампианами, и фермами, что стоят за Мостом через Денбарн по обеим сторонам дороги, идущей из деревни. Было там общим счетом хозяйств двадцать-тридцать, всё фермеры, суровый люд из древней породы пиктов, без роду-племени, простые люди, коё-как строившие свои домишки, что стояли, сгрудившиеся и покосившиеся, среди растянувшихся отлогих полей. Аренду заключали на два или на три года, с первым лучом зари ты натягивал штаны и шёл работать до темна, да так, что в глазах к ночи рябило, а грязные джентри сидели и проедали твою арендную плату, а ты ведь был ничем не хуже их.

Вот в таком состоянии оставил Кеннет имение своей ле-  
ди, горько плакала она, видя, до чего всё дошло, но никому

до этого не было дела, пока ей самой не подвязали челюсть тряпицей и не снесли в фамильный склеп Кинрадди, чтобы положить рядом с мужем. Трое из её детей утопили в море, рыбака со скалы Беви<sup>13</sup>, остался четвёртый, мальчик, Коспатриком звали, этот умер в один день со Старой Королевой<sup>14</sup>, был он смирный, бережливый и разумный, и он решил привести имение в порядок. Выкинул прочь половину крофтеров, они упорхали в Канаду и в Данди и в другие места, навряд ли того, остальных же сразу подвинуть не смог, разве что со временем.

Однако на освободившейся земле он устроил фермы размером побольше и сдавал их за арендную плату повыше и на срок подольше, он заявил, что пришло, мол, время доброй большой фермы. И он насадил перелески из елей, листвениц и сосен, чтобы закрыть от ветров длинные блеклые косогоры, и при нём в Кинрадди вполне мог бы вернуться былой достаток, не женись он на девице Мортон с чёрной кровью в жилах, из-за которой мозги у него съехали набекрень, начал он пить, а там и помер, что было для него наилучшим исходом. Потому как сын его уродился полным дурачком, которого, в конце концов, заперли в дурдоме, и на этом род Кинрадди пресёкся, Большой Дом, что стоял на месте зам-

---

<sup>13</sup> Здесь автором использована игра слов, т. к. Bevie на шотландском сленге означает «алкоголь», будучи сокращением от beverage, «питьё».

<sup>14</sup> Старая Королева – Виктория (1891 – 1901), Королева Великобритании и Ирландии, Императрица Индии, правившая 64 года.

ка, возведённого руками пиктов для Коспатрика, начал рассыпаться, как кусок засохшего сыра, весь, кроме двух-трёх комнат, которые опекуны имения заняли под свои служебные нужды – имение к тому времени было по уши в закладах.

В общем, к зиме 1911 года от имения Кинрадди оставалось не больше девяти небольших хозяйств, Мейнс<sup>15</sup> было самым большим из них, в стародавние времена это была господская ферма при Замке. Один ирландец, Эрберт Эллисон его звали, был на ферме управляющим от опекунского совета, так он говорил, но, если верить молве, в свои карманы он клал денег гораздо больше, чем в опекунские. Этого и следовало ожидать, ибо когда-то он подвизался официантишкой в Дублине. Было это в те времена, когда Лорд Кинрадди, тот самый, придурковатый, ещё не совсем свихнулся. Как-то раз он, Лорд Кинрадди, поехал в Дублин с целью попойнствовать, и Эллисон поднёс ему виски и потом, говорят, разделил с ним постель. Хотя люди и не такое понарасказывают.

В итоге наш полудурок привёз Эллисона с собой в Кинрадди и сделал своим слугой, и иногда, когда Лорд напивался особенно сурово, так, что бесенята начинали с фырканием выпрыгивать на него из бутылок виски, он швырял подвернувшуюся бутылку в Эллисона и орал *Пиёл вон, чёртов утиральник!* да так громко, что вопли его доносились

---

<sup>15</sup> Mains в переводе с шотландского означает «ферма с сельскохозяйственными угодьями при господском поместье».

до стоявшего напротив Пасторского Дома и вгоняли жену пастора в краску. И старый Григ, тот, что был раньше пастором в деревне, обращал гневный взгляд на Кинрадди-Хаус, как Джон Нокс<sup>16</sup> на Холируд<sup>17</sup>, и говорил, что, мол, настанет ещё час Божий. И час Божий, действительно, настал – дурачка упекли в психушку, поехал он туда в медсестринском чепчике на макушке, высунув голову из заднего окошка медицинской кареты и крича *Кукареку!* изредка встречавшимся по пути школьникам, так, что те опреметью кидались домой, напуганные до крайности.

Однако Эллисон к тому времени успел основательно поднатореть в сельском хозяйстве и торговле скотом, особенно – в тонкостях приобретения лошадей, так что попечители имения сделали его в Мейнсе управляющим, и он переехал в дом на ферме и начал присматривать себе жену. Особо никто с ним связываться не хотел – жалкий ирландишка, который и говорить-то на чело́вьем языке не умел и был не из нашей Церкви, но вот Элла Уайт – та была не столь разборчива, да и зубки у неё у самой были ого-го. Так что, когда Эллисон подошёл к ней на празднике урожая в Охен-

---

<sup>16</sup> Джон Нокс (1513 — 1572) – шотландский богослов и церковный деятель, лидер протестантской Реформации, основатель Пресвитерианской Церкви в Шотландии.

<sup>17</sup> Холируд – Холирудский дворец в Эдинбурге, резиденция королей Шотландии. Гиббон имеет в виду противостояние Джона Нокса и Марии де Гиз, регента Шотландии, которая преследовала набиравшее силу пресвитерианское движение.

бли и гаркнул *Проводить тебя сегодня до дому, дорогуша?* она сказала *А чо ж.* И по дороге домой они прилегли среди снопов, и, надо полагать, Эллисон прикладывался к ней и так и эдак, чтобы накрепко застолбить за собой, уж очень к тому моменту ему приспичило найти женщину.

На следующий Новый год они поженились, и Эллисон решил, что теперь он большой человек в Кинрадди, а может, даже и один из джентри. Но батракам, что жили в лачугах, пахарям и просто бездельникам в Мейнсе – этим до всяких там джентри дела не было, разве что поглумиться, и вот накануне свадьбы они поймали Эллисона, когда он шёл домой, стянули с него штаны, намазали ему смолой задницу и ноги и изваляли в перьях, а потом кинули в уличную канаву с водой – как того требовал обычай. И он обзывал их *Сранные шотландские скоты* и гневался ужасно, и когда пришло время продлевать найм, он их повыгонял, всю их весёлую шайку, так жестоко он оскорбился.

Но после того случая жил он довольно мирно, он и жена его, Элла Уайт, и у них была дочь, костлявая мелкая девка, для которой, как они полагали, школа в Охенбли была недостаточно хороша, так что она поступила в Академию в Стоунхейвене, и там выучилась, как ничего не бояться и вертеться в спортзале в маленьких чёрных панталончиках под юбкой. Сам Эллисон начал отращивать приличное брюхо, и лицо у него стало красное, крупное, налитое, а глаза – как у ко- та, зелёные такие глаза, и усы его свисали по обеим сторо-



нам крохотного рта, под завязку набитого вставными зубами, страшно дорогими и красивыми, ещё и позолоченными. И он всегда носил гетры или щеголял в штанах для верховой езды, потому как заделался к тому времени чистым джентри. И завидев на рынке знакомого, он кричал *Ба, никак это ты, старый доходяга!* и парень жутко тушевался и заливался краской, но не решался ответить, потому что Эллисон был не тем человеком, которого можно безнаказанно задевать. Что до политики, он называл себя «консерватором», однако все в Кинрадди знали, что это означало просто тори<sup>18</sup>, и дети Страхана, того, что фермерствовал на Чибисовой Кочке, обычно кричали

*Синий нос, чернилами срёшь,  
Рожей на телку Тарру похож!*<sup>19</sup>

каждый раз, когда видели проходящего мимо Эллисона. Ибо он подписался в поддержку того парня из Тарриффа, чью корову продали с торгов, чтобы покрыть долги по стра-

---

<sup>18</sup> Тори – прозвище членов Партии консерваторов, пользующейся поддержкой состоятельных представителей среднего класса и аристократии и непопулярной среди рабочего класса и мелких фермеров.

<sup>19</sup> Телка Тарра – Tuirra Coo (Корова Тарра, шотл.), корова, жившая на одной из ферм в Абердиншире и прославившаяся на всю страну в 1913 году после тяжбы между властями и её хозяином, фермером, отказавшимся исполнять закон о введении обязательного страхования наемных работников. Корова была описана в счёт штрафов, однако фермер пытался опротестовать это решение через суд.

ховке, и люди говорили, что оба они обычные показушники — и парень с коровой, и сам Эллисон. И за спиной потешались над ним.

Таким был Мейнс, располагавшийся ниже Большого Дома, и Эллисон фермерствовал там на свой ирландский манер, а прямо напротив его хозяйства, спрятавшись среди тисовых деревьев, стояли кирка и Пасторский Дом, кирка — старая, продуваемая сквозняками развалина, где зимой прямо посреди Господней Молитвы порой можно было услышать такой порыв ветра, что, казалось, крыша того гляди улетит, и мисс Синклер, та, что приходила из Недерхилла играть на органе, так вот она чихала, утыкаясь в Книгу Гимнов, и теряла место в нотах, и пастор, ещё прежний, устремлял на неё пылающий взор, больше обычного походя на Джона Нокса.

Рядом с киркой стояла старинная колокольня, построенная еще при римо-католиках, знаменитых негодях, и была она очень старая, и никто ей уже не пользовался, кроме вяхирей, они влетали и вылетали через узкие щели в верхнем этаже и гнезидились там круглый год, и там всё было сплошь белым от их помёта. В нижней части башни находилось надгробье Коспатрика де Гондешила, того, что убил грифона; он был изваян лежащим на спине, скрестившим руки на груди и с придурковатой кокетливой улыбочкой на лице. И копье, которым он убил грифона, хранилось там же в сундуке под замком, по крайней мере, так некоторые говорили, а другие

говорили, что это просто старое тесало времён Красавчика Принца Чарли<sup>20</sup>. Такой была часовня, но от кирки она стояла отдельно, а сама кирка разделялась надвое – большой зал и малый зал, находились такие, кто называл их «коровник» и «сарай для репы», и посередине стояла кафедра.

Когда-то малый зал предназначался для прихожан из Большого Дома, их гостей и тому подобных джентри, но теперь почти любой, у кого хватало наглости, заходил туда и усаживался, и церковные старосты сидели там с мешками для пожертвований, и ещё молодой Марри, тот, что раздувал органные мехи для Сары Синклер. Окна в малом зале были с тонкими, жутко старыми стёклами, на которых были изображены три девицы – не самые подходящие картинки для церковных витражей. Одна из девиц была Верой, и, ей-богу, вид у неё был дурноватый, ибо стояла она с воздетыми руками и с глазами, как у телушки, подавившейся репой, и наброшенное на неё одеяльце спадало с её плеч, но ей, казалось, было всё равно, и вокруг неё буйно ветвились пергаментные свитки и прочая обычная дребедень.

И вторая девица была Надеждой, выглядела она почти такой же чудноватой, как и Вера, но зато волосы у неё были роскошные, рыжие такие волосы, хотя, возможно, кто-нибудь назвал бы их каштановыми с золотым отливом, и иногда

---

<sup>20</sup> Красавчик Принц Чарли – Чарльз Эдвард Стюарт (1720 – 1788), внук изгнанного Короля Якова II. В 1745 году был предводителем неудачного восстания яacobитов, стремившихся вернуть шотландскую династию Стюартов на престол Великобритании.

зимой во время утренней службы свет, разлетаясь на брызги в ветвях тисов, стоявших на церковном дворе, проникал в малый зал сквозь рыжие волосы Надежды. И третья девица была Любовью, с толпой голых ребятишек у ног, и выглядела она женщиной доброй и приличной, хотя и была замотана в какие-то дурацкие тряпки.

А вот окна главного зала, хотя и цветные, стояли, однако, без картинок, сроду картинок на них не было – кому они нужны? Только негодяи, навроде католиков, любили, чтобы церковь выглядела, как календарь бакалейной фирмы. В общем, кирка была приличной, голые стены, старинные резные скамьи, некоторые – с мягкими подушками, некоторые – без, и, если мать-природа не расщедрилась на мягкую подбивку для твоего седалища, но в кармане у тебя имелась лишняя монета, ты мог подложить себе подушечку, чтобы устроиться поудобнее. Прямо у самой кафедры, наискось, располагались три скамьи, на которых сидел хор и задавал тон в пении гимнов, и были такие, кто звал эти скамьи «телятником».

Задняя дверь, та, что за кафедрой, вела наружу, через церковное кладбище – к Пасторскому Дому с его хозяйственными постройками, возведённому ещё во времена Старой Королевы, довольно-таки симпатичному, но жутко сырому, как говорили все жены пасторов. Хотя таковы уж жены пасторов, вечно они ноют и не ценят собственного счастья, благополучия и денег, которыми их обеспечивают муженьки, раз или два читающие проповедь по воскресеньям и так

раздувающиеся от важности, что, кажется, едва тебя узнают, случись повстречаться с ними на улице. Комната пастора располагалась в доме на самом верху, из неё открывался вид на весь Кинрадди, по ночам оттуда были видны огоньки фермерских домов, словно рассыпанные под пасторским окном блестящие песчинки, и флагшток, белевший в вышине между звёзд на крыше Большого Дома. Однако в декабре 1911 года Пасторский Дом пустовал, причём уже много месяцев, прежний пастор умер, а нового ещё не избрали. И пасторы из Драмлити, Арбутнотта и Лоренскёрка приезжали по воскресеньям, обычно до полудня, и справляли службу в Кинрадди. И проповеди эти пасторы читали так, что вполне могли бы не утруждать себя дорогой, видит Бог, без них было бы даже лучше.

А если выйти из кирки через главные двери и немного пройти по дороге на восток – а вдоль дороги этой стояли кирка, Пасторский Дом и ферма Мейнс – то можно было выйти на большой тракт. Он шёл в одну сторону на север, а в другую – на юг, и этот тракт, на который вы только что вышли, пересекала ещё одна дорога – эта шла через Кинрадди до фермы Бридж-Энд, что за мостом. И тут, стало быть, получался перекрёсток, и если пойти налево по большому тракту, то можно было дойти до Чибисовой Кочки, стародавнего ещё хозяйства, надел тамошний был всего акров тридцать-сорок<sup>21</sup>, нераспаханная пастбищная земля, хотя, ей-бо-

---

<sup>21</sup> 30—40 акров равняются 12—16 гектарам. 1 акр – 0,4 гектара.

гу, настоящего пастбища там было не много, а были там, по большей части, заросли дрока и раkitника и грязь, и водились там в изобилии кролики и зайцы, которые выбирались по ночам на свои вылазки и сжирали посе­вы, приводя людей в полнейшее отчаяние. Однако же почва там, на Кочке, была неплохая, две тысячи лет её поливали человеческим потом, и большая усадьба за домом и амбарами была чистый чернозём, а не красная глина, прикрытая верхним слоем почвы, как у половины Кинрадди.

Постройкам на Чибисовой Кочке было не больше лет двадцати, однако же они всех страшно раздражали, потому что, хотя дом стоял у дороги – и это было вполне подходяще, если, конечно, тебя не бесило, что невозможно сменить нижнюю сорочку без того, чтобы какой-нибудь дурень не таращился на тебя с улицы в окно – но вот открытый загон для скота располагался между коровником, конюшней и амбаром с одной стороны и фермерским домом с другой, и прямо посреди этого загона желтела высоченная навозная куча из разного помёта, перемешанного с соломой, и госпожа Страхан никак не могла простить Чибисовой Кочке исходящую от неё ужасную вонь.

Однако Че Страхан, который там фермерствовал, говорил на это только *Тьфу ты, что за вздор?* и пускался в рассказы о том, каких ужасных запахов он нанюхался, пока был за границей. Потому что ему, этому Че, довелось попутешествовать вдоволь, прежде чем он вернулся в Шотландию и по-

лучил свою последнюю батрацкую плату на ферме Недерхилл. Он ездил на Аляску, искал там золото, но золота нашёл с гулькин нос, и потом фермерствовал в Калифорнии, пока эти самые фрукты не засели у него в печёнках так, что он с тех пор не переносил самого вида апельсинов или там груш, даже консервированных. А потом он отправился в Южную Африку и жил там припеваючи, коротко сойдясь с вождем одного из чёрных племён, который оказался, при том, крайне порядочным человеком. Они с Че боролись как против буров, так и против британцев, и одолели всех, по крайней мере, так рассказывал Че, но те, кто недолюбливал Че, поговаривали, что если уж ему с чем-нибудь и приходилось когда-либо бороться, так это со своим языком, а что до «одолели», так он вряд ли одолеет пенку на миске квашеного молока.

Те, что корчил из себя джентри, не особо его любили, это-го Че, потому что был он социалистом и считал, что денег у всех должно быть поровну, и что не должно быть богатых и бедных, и что все люди одинаково хороши. И все эти его идеи насчет денег – это, конечно, была полная дурь, потому что, если бы в один прекрасный день у всех оказалось поровну денег, что произошло бы потом? Да снова – богатые и бедные! Но Че говорил, что, мол, четырём пасторам в Кинрадди, Охенбли, Лоренскёрке и Драмлити платили в прошлом году примерно одинаково, и что у них в этом году? Да опять – более-менее поровну! *Так что тебе надо бы поменьше дрых-*

*нуть и получишь узнать свет, прежде чем пытаться подловить социалиста на рассказах, а будешь со мной спорить, приятель, получишь в ухо.*

По части убеждения Че был большой дока, и драки не любил, если, конечно, его совсем уж не допекали, так что с этим парнем все ладили, хотя и посмеивались над ним. Но, ей-богу, есть ли хоть кто-то, над кем люди не посмеиваются? Мужчиной он был видным, славного роста, широкий в плечах, с красивыми русыми волосами, лоб у него был широкий, нос – что твой плужный нож, и кончики усов он закручивал вверх и вошил на манер германского Кайзера, и он мог остановить бегущего телка-однолетка, ухватив его за рога, так крепок он был в запястьях. И был он из самых рукастых парней в Кинрадди, мог охолостить телёнка, объездить лошадь или заколоть свинью – причем всё мигом, или покрыть тебе черепицей маслобойню, или остричь ребятёнка, или выкопать колодец, и попутно он устали рассказывал бы о том, как вот-вот наступит социализм и все научатся жить в обществе справедливости, а если социализм не наступит, то случится ужасный кризис, и все опять будут жить дикарями *Едрить его!*

Но люди говорили, что ему бы сперва стоило научить жизни в обществе свою госпожу Страхан, ту, что звалась когда-то Кёрсти Синклер из Недерхилла, а потом уж других поучать. Про неё говорили, что её языком можно плотно резать, а болтовнёй отпугивать попрошайек от дверей, и честное



слово, если Че хоть иногда не тосковал по хижине и чёрной девице в Южной Африке, то, значит, не было у него отродясь ни хижины никакой, ни девицы. Он, Че, когда только вернулся из чужих стран, столовался в Недерхилле, и там было две дочери, одна – Кёрсти, а другая – Сара, та, что играла на органе в кирке. Обе были перезрелыми девицами, остро нуждавшимися в мужике, и нужда Кёрсти была особенно отчаянной, ибо, по всему судя, спутался с ней один докторишка из Абердина. Только он своё-то получил, да и оставил её в неловком положении, и её мать, старая госпожа Синклер, от стыда чуть с ума не сошла, когда Кёрсти вдруг разревелась и поделилась с ней этой новостью.

Между тем близилось время нанимать новых батраков, и кого же ещё старый Синклер из Недерхилла мог притащить домой с ярмарки работников, как не Че Страхана, у которого от житья за морями кровь разогрелась, и чтобы распалить его, надо было всего лишь кокетливо подмигнуть, да и того много. Но даже при всём при этом жениться он совсем не спешил, а только всё крутился вокруг Кёрсти, как кружит вокруг кусочка мяса в капкане лесная ласка, не уверенная, стоит ли ради этого мяса рисковать. Но время шло, и ей-богу, назревало что-то серьёзное.

И вот как-то вечером, когда все поужинали на кухне и старый Синклер, размахивая руками так, будто брызгался водой на реке, пошёл в хлева, старая госпожа Синклер встала, кивнула Кёрсти и сказала *Ну, ладно, я ложусь. Ты ведь*

*тоже не будешь засиживаться, Кёрсти?* И Кёрсти сказала *Нет*, и бросила на мать лукавый взгляд, и старая хозяйка ушла в свою комнату, и тогда Кёрсти начала скалиться и заигрывать с Че, а тот был мужчина весьма горячий, и они были одни, так что, наверное, минуты не прошло, как он завалил её на диван прямо там, на кухне, но она прошептала, что это небезопасно. Тогда он снял башмаки, и она тоже, и по лестнице они прокрались вдвоём в комнату Кёрсти, и начали предаваться своим маленьким радостям, когда *У-у-ф!* ухнула дверь, и в комнату ворвалась старая госпожа Синклер, в одной руке свеча, другая воздета в смятении. *Нет-нет*, сказала она, *так не пойдет, Чаки, дружочек, тебе придется на ней жениться.* И всё – у бедняги Че, переминавшегося под гневными взглядами Кёрсти и её матери, выхода уже не было.

Так они и поженились, и старый Синклер поднакопил немного денег, и арендовал для Че и Кёрсти Чибисову Кочку, и накупил туда скотины, и там они и осели, и не прошло семи месяцев, как Кёрсти родила, девчушку, вполне себе, по виду, нормального размера и развития, хотя мать её божилась, что родила задолго до положенного срока.

Потом у них родилось ещё двое, оба – парни, и оба – копии Че, те самые детки, что распевали про Тарра Ку при каждой встрече с этим надутым болваном Эллисоном, бодро катившимся по Кинраддской дороге, и ей-богу, от их дразнилки смех тебя так и разбирал.

Прямо напротив Чибисовой Кочки, если перейти через тракт, рыжая глинистая земля круто уходила вверх холмом, по которому ухабистая, засыпанная щебнем дорога вела к ферме Блавири. *Прочь от мира, в Блавири*, так говорили в Кинрадди, и точно, это была запущенная ферма, одиноко стоявшая на холме, земли акров пятьдесят-шестьдесят<sup>22</sup>, да к этом — пустошь, расстилавшаяся вверх по холму далеко за Блавири, выше, к обширной и плоской вершине холма, где имелось небольшое озеро, на котором гнездилось не менее сотни бекасов, и поговаривали, что у озера этого не было дна, а Длинный Роб с Мельницы говорил, что глубина его столь же велика, как порочность церковников.

Конечно, нехорошо так говорить о пасторах, какими бы они ни были, но Роб отвечал, что нехорошо так говорить об озере, каким бы оно ни было, а между тем на озере этом плескалась с шелестом вода, мрачный тёмный плес окаймляли камыши и осока, и от воплей бекасов по вечерам закладывало уши, если постоять там при закате. Хотя мало кто приходил туда постоять, потому что рядом с озерцом был кромлех, круг из камней, ещё с древности, некоторые камни торчали стоямя, некоторые валялись, и некоторые клонились — одни в одну сторону, другие в другую, и прямо в центре круга из земли вылезали три больших камня и стояли, покосившись, с умиротворением на плоских своих лицах, будто прислушиваясь в ожидании чего-то. Это были друидские кам-

---

<sup>22</sup> 50—60 акров — 20—24 гектара.

ни, и люди рассказывали, что друиды эти были лютыми бесами в человеческом обличье, жившими в стародавние времена, они забирались на холм и распевали свои мерзкие языческие песни, топчась вокруг этих камней, и если им встречался какой-нибудь христианский проповедник, они выпускали ему кишки, едва тот успевал удивлённо моргнуть. И Длинный Роб с Мельницы говорил, что, мол, если Шотландии чего-то и нехватало, так это возвращения друидов, но это он просто болтал, потому что они, наверняка, были людьми тёмными, свирепыми и совершенно необразованными.

В Блавири уже почти год никто не жил, но теперь, говорили, со дня на день должен был заселиться какой-то Джон Гатри с севера. Ферма была в прекрасном состоянии, амбары и прочие постройки теснились на одной стороне двора, позади них было место для навозной кучи, и по другую сторону двора стоял дом, прекрасный дом для небольшой фермы, в три этажа, с отличной кухней, и между домом и дорогой к Блавири был приличный сад. Тут росли буки, три дерева, один прямо вплотную к дому, и живая изгородь из жимолости летом разрасталась так дивно, что красивее было не сыскать. И если бы люди могли питаться одним лишь запахом жимолости, то доход с этой фермочки был бы ого-го.

В общем, вот эти две фермы – Чибисова Кочка и Блавири – лежали вдоль тракта в сторону Стоунхейвена. А вот если повернуть на восток и пойти дорогой на Охенбли, то

справа первым был бы Каддистун, небольшое хозяйство размером с Чибисову Кочку, и такое же старое, скромная фермочка, существовавшая с незапамятных времен. Располагалась она в четверти мили, или около того, от большого тракта, и на проселочной дороге, ведущей к фермерскому дому, с поздней осени и до прихода весны всю жизнь грязи было по колено. Некоторые говорили, что, мол, возможно, этим объясняется, почему у Манро такая шея – сроду он не мог отмыть её от грязи. Хотя другие утверждали, что он никогда и не пробовал. Ферму он арендовал на тринадцать лет, этот самый Манро с юга, родом откуда-то из-под Данди, и росту в нём было добрых шесть футов<sup>23</sup>, однако ноги у него вечно заплетались, как у ягненка с водянкой в башке, и ступни были здоровенные, подстать его росту. Отроду ему было лет сорок или вроде того, успел он уже облысеть и кожу имел красноватую, свисавшую усталыми складками на щеках и подбородке, и ей-богу, уродливее рожи за всю жизнь не видишь, бедный мужик.

Наверняка, где-нибудь и водились люди, ещё неприятнее, чем Манро, однако, надо полагать, все они сидели в каких-нибудь тюрьмах, а что до Манро, то он был способен хвастаться и с надутым видом разглагольствовать до тех пор, пока окончательно не выводил собеседника из себя. Фермерствовал он на своем небольшом наделе от случая до случая, а земля ведь там была очень даже славная, всё больше

---

<sup>23</sup> 6 футов – 1 метр 80 сантиметров

тот же чернозём, пласт которого шёл через Чибисовы поля, но только со скверным водоотведением, там всё ещё были старые каменные водоотводы, и чёрта с два управляющий в Большом Доме почесался бы, чтобы их заменить или залатать крышу в коровнике, через которую дождь лился, как через решето, прямо на голову госпожи Манро, если она каким-нибудь непогожим вечером бралась доить коров.

Но доведись кому-нибудь сказать ей, этак с висока, *Вот ведь, хозяйка, до чего коровник-то у вас страшный*, она мигом вспыхивала *Для таких как мы – в самый раз!* И если этот кто-нибудь, по неопытности, соглашался с ней, бедняга, и поддакивал, что, мол, местечко как раз для бедняков, она вновь подсакивала на месте *Кто бедняки? Я вам так скажу – мы отродясь ни в чьей помощи не нуждались, хоть мы и не трубим об этом на всю округу, как некоторые – не буду говорить кто, хотя могла бы.* И собеседник понимал, наконец, что с этой женщиной не поладишь, и весь Кинрадди над ней потешался, правда, исключительно у неё за спиной. И была она худая, волосы чёрные и острые черные глаза, как у крысы<sup>24</sup>, а голос такой, что волосы у тебя на загривке подымались дыбом, когда она принималась брюзгливо скрипеть. Однако повитухи лучше неё было не сыскать на много миль вокруг, частенько посреди ночи какой-нибудь

---

<sup>24</sup> В оригинале использовано слово *futret*, что по-шотландски означает «лесная ласка». Сравнение с этим зверьком у шотландцев часто используется в уничижительном смысле, подобно русскому сравнению с крысой.

несчастный взъерошенный бедолага стучался в её окно *Госпожа Манро, госпожа Манро, вы не могли бы пойти к моей жене?* И она выходила, одевшись так живо, что ты и свиснуть бы не успел, и ныряла в холод кинраддской ночи, и покрысиному юрко скользила сквозь неё, и вскоре уже резко и отрывисто отдавала команды в кухне того дома, куда её позвали, успевая заверять роженицу, что дела у той не так уж плохи, бывает куда как хуже, и была проворна, сноровиста и сведуща.

А забавнее всего в ней было то, что она со всей чистосердечностью верила, будто никто про неё слова дурного не говорил, ибо, если доводилось ей услышать хотя бы малейший, лукаво, как бы случайно, оброненный намёк на нечто подобное, она краснела, что твой ревень на унавоженной грядке, и вид у неё становился такой, будто она вот-вот разрыдается, и у собеседника уже начинало щемить сердце от жалости, но в следующий миг она вдруг принималась истошно визжать на Энди или на Тони и глумливо причитать, какие, мол, убогие мозги им, чертям проклятым, достались.

Энди и Тони – это были два дурачка, которых госпожа Манро взяла на содержание из дурдома в Данди, там сказали, они, вроде как, неопасные. Энди был здоровенным неряшливым увальнем, с вечно капающей из приоткрытого рта слюной, чисто жеребенок, у которого режутся зубы, нос его болтался по всей физиономии, а когда Энди пытался говорить, получалась только какая-то белиберда. Из двух он был са-

мым дурным, но очень хитрым, порой он убегал на холмы и стоял там, показывая нос и строя рожи госпоже Манро, та визжала на него, он что-то вопил ей в ответ, а потом пустошью уходил к батрацкому дому на ферме Апперхилл, где пахари давали ему сигареты, а потом начинали издеваться над ним до тех пор, пока он всерьёз не разозлится; и однажды он чуть не зарубил одного из них топором, выхватив его из деревянной колоды. И ночью он прокрадывался обратно в Каддистун, скулил на улице, как побитая собака, и топтался у двери до тех пор, пока те немногие волосы, что ещё оставались на голове у Манро, не подымались дыбом. Но тут госпожа Манро вставала с постели и за ухо втаскивала Энди в дом, и поговаривали, что она стягивала с него штаны и задавала приличную порку, но, может, это и враньё. Она его совсем не боялась, и он её не боялся, два сапога пара.

Так они все и копошились в своём Каддистуне – кроме Тони – ибо своих детей у Манро не было. А Тони, хоть и не был самым бестолковым, однако же имел большие странности. Крупным телосложением он не отличался, была у него рыжая бородка и печальные глаза, и ходил он, низко опустив голову, и вызывал у всех неподдельную жалость, ибо нередко очередная придурь настигала парня прямо посреди большака или в поле, на гребне с брюквой, и он замирал, идиотски глядя в точку несколько минут подряд, пока кто-нибудь, как следует потрянув, не приводил его в чувство. У него были красивые мягкие руки, потому что происходил он не из ра-



бочих; говорили, когда-то он был ученым и писал книги, и всё чему-то учился, учился, пока не доучился до размягчения мозга, и тогда он свихнулся и попал в бедняцкий дурдом.

И госпожа Манро имела обыкновение посылать его за покупками в магазинчик, что находился за фермой Бридж-Энд, и она перечисляла ему, что ей было нужно, разборчиво и понятно, и, может быть, отвешивала время от времени пару затрещин, ну, как обычно это делается с детьми и дурачками. Он слушал её и видом давал понять, что всё запомнил, потом уходил в магазин и возвращался, купив всё в точности, не перепутав ничего. Но однажды, продиктовав, что надо купить, госпожа Манро увидела, что доходяга что-то царапает на клочке бумаги подобранным где-то карандашом. И она отобрала у него бумажку и стала рассматривать, вертела так и сяк, но ничего не смогла в ней разобрать. Поэтому она слегка треснула его по уху и спросила, что там было написано. Однако он только тряс головой, как совершенный идиот, и тянул руки к бумажке, но госпожа Манро живо его уgomонила, а когда дети Страханов должны были по пути в школу проходить мимо поворота на Каддистун, она их там поджидала, и дала бумажку старшей девчонке, Маргит, и велела показать господину директору школы и спросить, не означают ли эти какакули чего-нибудь.

И вечером она вышла на дорогу и ждала, когда дети Страханов пойдут обратно, и они принесли ей от директора кон-

верт; она открыла его и нашла записку, в которой было сказано, что запись на бумажке была стенографией, и что означала она, если переписать всё обычным образом, следующее: *Два фунта сахара Пиплз Джорнал*<sup>25</sup> *полуницы горчицы крысиный яд в жестяной банке фунт свечей жаль думаю не удастся обдурить её на два пенса сдачи в счет дыма вот уж правда скареднее стервы по эту сторона Твида не сыскать.* Так что, возможно, Тони был не так глуп, но в тот вечер он остался без ужина; и с тех пор хозяйка не требовала у него его записки.

Шагая дальше на восток по Кинраддской дороге, ты оставлял слева ферму Недерхилл, пять усадеб вмещали её поля во времена крофтеров, до Лорда Кеннета. Но теперь все эти земли были объединены в одну довольно приличную ферму, старый Синклер со своей женой, вечно всем недовольной – не давало ей покоя, что старшая дочь Сара до сих пор была совершенно не замужем – жили в фермерском доме, и в ба-трацком домике обитали старшина артели, и работник, и ещё одни работник, и в придачу к ним ещё парень. За Недерхиллом спокойно и неторопливо протекал Денбарн, безмятежный в своей низине, рыба в его водах сроду не ловилась, люди говорили, её там попросту не было, хотя дела в Недерхилле и без того отдавали рыбой.

---

<sup>25</sup> The People's Journal – шотландское периодическое издание, выходившее с 1858 по 1986 год.

Через просторы обширной пустоши, лежавшей между этой фермой и Чибисовой Кочкой, тянулся след древней дороги, поговаривали, что она была ровесницей Калгака<sup>26</sup>, того, что от души навалял римлянам в битве у Граупийских гор и прогнал их к чертям собачьим, другие говорили, что это работа друидов, мол, те, кто поставили камни над озером Блавири, проложили и эту дорогу. И ей-богу, видать каменщикам при тех парнях без работы скучать не приходилось, ибо они не поленились возвести ещё один круг из камней – на Недерхилльской пустоши, аккурат посередке между двух концов той древней дороги. Но в этом месте до наших дней сохранилось камня два-три, не больше, пахари с Недерхилла божились, что остальные кто-то повыдергивал и раскидал по всему пахотному полю – почва тут была жёсткой и завалуненной, как сердце жены-старухи.

Хотя, если под репу или овёс, то местечко было в самый раз, этот Недерхилл, сено там родилось вполне сносное, но всё равно, по большей части земля – красная глина, для ячменя слишком грубая и сырая, так что, если б не свиньи, которых старая госпожа Синклер откармливала и пускала на продажу в Лоренскёрке, может, муж её никогда бы и не осел там, где в итоге оказался. Его старуха-хозяйка была родом из Гурдона, а всем известно, каковы они, гурдон-

---

<sup>26</sup> Калгак – вождь каледонских племен, возглавлявший их войско в битве с римлянами при Граупийских горах (83 год н.э.). Битва и сам Калгак упоминаются в «Жизнеописании Юлия Агриколы» Тацита.

ские рыбаки, эти выжмут деньгу из дохлятины, назовут вонючую пикшу ароматной рыбкой и толканут по шиллингу за пару хвостов. Так вот она была рыбачкой, прежде чем сошлась со старым Синклером, и когда они осели в Недерхилле на одолженные деньги, не кто иной, как она дважды в неделю каталась в Гурдон на повозке, запряжённой маленьким пони, и обратно повозка возвращалась, расточая густую вонь на несколько миль вокруг, гружёная гнилой рыбой для удобрения почвы. И удобрение из неё было что надо, и первые шесть лет или около того урожаи у них были отличные, а потом земля обескровилась, и им пришлось завязать с рыбным удобрением. Но к тому времени уже наладилось у них свиноводство и приносило прибыль, с долгами они рассчитались и теперь гребли деньгу лопатой.

Он был совершенно безобидным, старый Синклер, и уже становился некрепок в ногах, и госпожа Синклер вечерами запихивала мужа в кресло, снимала с него башмаки, надевала ему тапочки у очага в кухне и говорила *Опять себя не жалел, милёночек ты мой*. А он брал её за подбородок и говорил *Да всё хорошо, не тревожься... Я ведь всё тот же твой паренёк, а, девонька ты моя?* И они замирали, уставившись друг на друга, старые морщинистые дураки, и их дочь Сара, чрезвычайно утончённая особа, конфузилась до крайности, если при этом в доме был кто-нибудь чужой. Но Синклер и его старая жена только качали головами, глядя на неё, и ночью в своей постели жались друг к другу под одеялом, что-

бы согреть старые кости, и тихонько вздыхали, горюя, что ни один пригожий парень до сих пор не выказал намерения уложить Сару в *свою* постель. Она-то всё надеялась, и посматривала по сторонам, и охорашивалась – уже который год, и однажды уже казалось, что забрезжила надежда с Длинным Робом с Мельницы, но Роб был парнем, на женитьбу не настроенным. Господи! Ну, ладно дурачки с Каддистуна, у них, и вправду, мозгов не было, но вот что сказать о человеке при деньгах, который живёт один одинёшенек, сам стелит себе постель и сам печёт свой хлеб, когда мог бы завести жену, чтобы та превратила его в почтенного и солидного мужчину?

Однако Робу с Мельницы было всё равно, что говорили о нём в Кинрадди. Она, Мельница его, стояла дальше по Кинраддской дороге, там, где в сторону уходил просёлок, ведущий на Апперхилл, и Роб обитал там один уже десять лет, вёл свои мельничные дела и читал книги негодника Ингерсолла<sup>27</sup>, того, что мастерил часы и не веровал в Господа Бога. Он, Роб, всегда держал при мельничном хозяйстве двух-трёх свиней, и чем они только живы были, если он кормил их всего лишь той малостью овса да ячменя, что удавалось поприжать из мешков, которые люди привозили

---

<sup>27</sup> Речь идет о Роберте Ингерсолле (1833 – 1899), американском политике и юристе, известном стороннике агностицизма. Жители Кинрадди путают его с другим Робертом Ингерсоллом, американским бизнесменом, первым в 1896 году наладившим массовое производство дешевых карманных часов, получивших название «Часы за доллар» и не отличавшихся качеством.

ему на помол? Но никто не стал бы спорить с тем, что хряк у Длинного Роба был из лучших в Мирнсе; и люди везли своих свиноматок со всей округи вплоть до самого Лорекнскёрка, чтобы свести их с этим хряком, роскошной здоровенной зверюгой.

Помимо Мельницы, свиней и кур, у Роба были клейдесдаль<sup>28</sup> и шолти<sup>29</sup>, с которыми он распахивал свои двадцать акров, и пара коров, которые сроду не телились, потому что у Роба вечно не было времени отвести их к быку, хотя, может, и стоило бы ему найти время, вместо того, чтобы обливаться потом и бестолково убиваться, расковыривая жёсткую пустошь за Мельницей и пытаясь превратить её в пахотное поле. Начал он это дело три года назад и с той поры не осилил и половины, пустошь вся была в огромных рытвинах, каких-то прудах и задыхалась от буйно разросшихся кустов дрока с ветками в руку толщиной, так что более дурная затея мало кому приходила в голову. Когда остальной Кинрадди укладывался спать, у Роба на его целине работа была в самом разгаре, и было слышно, как он насвистывает какую-нибудь песенку, будто на дворе девять утра и солнце светит вовсю. Обычно он высвистывал *Дамы Испании* и *Жила-была девчушка* и *Та, что уложит спать меня*, хотя чёр-

---

<sup>28</sup> Клейдесдаль (шотландская хладнокровная лошадь) – порода лошадей, произошла от рабочих кобыл Клейдсейдаля, фламандских и голландских жеребцов. Свое название клейдесдали получили по имени шотландской реки Клайдсдейл, на берегах которой была выведена эта порода.

<sup>29</sup> Шолти, шелти – шетландский пони.

та с два самому Робу приходилось хоть раз укладывать какую-нибудь девицу, что, вполне вероятно, для девицы было к лучшему, ибо этого парня она вряд ли часто видела бы рядом с собой в постели.

Ибо Роб после первой же ночи с ней чуть свет уже был бы на ногах и вывел бы клейдесдаля или шолти, они втроём были лучшими друзьями, правда, до тех пор, пока четвероногие твари не забредали туда, куда не надо, или отказывались шагать туда, куда было нужно Робу; и тогда он выходил из себя и обзывал их всеми последними словами, какие только мог припомнить, так что пол-Мирнса его слышало; и так он нахлестывал лошадей, что соседи начинали говорить, что пора, мол, заявить в полицию о жестоком обращении с животными, хотя умел он и ладить с животиной, и обычно через минуту они с конягами уже опять были лучшими на свете друзьями, и когда случалось ему отлучиться в кузницу в Драмилти или к столяру в Арбутнотт, лошадки, завидев его, мчались навстречу с другого конца поля, а он слезал с велосипеда и угощал их кусками сахара, который специально покупал и носил с собой.

Он считал себя большим знатоком лошадей, этот Роб, и, видит Бог, свои байки о лошадях он мог травить, пока у тебя ум не заходил за разум, при этом сам он мог продолжать их бесконечно, этот длинный жилистый парень. Он был, и вправду, высокий, может, тонковат в кости, но при этом в плечах широк, с некрупной головой и тонким носом,

и с глазами, дымчато-голубыми, как железный лемех морозным зимним утром, всегда блестящими, и с длинными усами цвета зрелой пшеницы, свисавшими по сторонам рта, так что старый пастор говорил Робу, будто тот, мол, походил на викинга, и Роб отвечал *Очень хорошо, пастор, до тех пор, пока я не выгляжу как поп, я собой вполне доволен и смело могу дальше пробивать себе дорогу в этом мире*, и пастор говорил, что Роб дурак и безбожник, и что смех его то же, что треск тернового хвороста под котлом<sup>30</sup>. А Роб говорил, что он лучше будет терновым хворостом, чем паразитом, потому что не верил в пасторов и в церкви, он набрался всего этого в книгах Ингерсолла, хотя, ей-богу, если с логикой у того парня было так же плохо, как с часами, которые он делал, то опора в жизни из него была скверная. Но Роб говорил, что всё с ним было в порядке, и что, если бы Христос пришёл в Кинрадди, то на Мельнице его всегда были бы рады угостить с дороги или налить кружку молока, но вот чёрта с два он получил бы хоть что-нибудь в Пасторском Доме. Таковы были Длинный Роб и дела на Мельнице, и некоторые говорили, что вовсе он был не таким, как про него сплетничали, а другие говорили, что ещё как был, и что он ещё и не таким был.

Над Мельницей возвышался холм Апперхилл, увенчан-

---

<sup>30</sup> Пастор цитирует Экклесиаста 7:6 – «потому что смех глупых то же, что треск тернового хвороста под котлом».



ный небольшим лиственничным лесом, и говорили, что лет сто назад там теснились пять крофтерских наделов, пока Лорд Кеннет не снес тамошние постройки, не выкинул крофтеров из прихода и не построил одну большую ферму Апперхилл. А двадцать лет спустя сын одного из тех крофтеров вернулся и арендовал это место, имя ему было Гордон, но для краткости все звали его, по названию фермы, Аппрамс, и ему это не нравилось, ибо он почти что стал джентри с тех пор как обосновался на этой огромной ферме и забыл бедняка отца, который рыдал как ребенок, уходя прочь из Кинрадди той ночью, когда Лорд Кеннет всех их вышвырнул. Был этот Гордон некрупным человечком с белым лицом, волосы у него были длинные и жидкие, нос торчал не прямо, а кособочился куда-то на сторону, усов он не носил, и ноги с руками у него были маленькие; и он любил ходить, заправив брюки в гетры, и носил с собой небольшую палку, и глядел гордо, что твой кочет на навозной куче.

Госпожа Гордон была стоунхейвенской барышней, её отец работал на почте каким-то чиновником, но – Господи! – послушать её, так он почту сам и изобрел, да ещё и патент оформил, не меньше. Была она здоровенная, как дебелая свинья, но одевалась всегда хорошо, и глазами у неё были рыбы, точно как у трески, и она всё время пыталась говорить на английский манер и двух своих дочерей, Нелли и Мэгги Джин, тех, что ходили в Стоунхейвенскую Академию, тоже заставляла говорить по-английски. И – Госпо-

ди Боже мой! – какую дребедень они несли, порой встретишь этих крошек на дороге и спросишь *Ну, Нелли, как там у твоей мамы курочки несутся?* и девка эта могла ответить что-нибудь навроде *Нынче не слишком здоровенно*<sup>31</sup> и была при этом так горда собой, что ты едва сдерживался, чтобы не пристроить мелкую крысу поперёк колена и малость не отшлепать.

Хотя у самой госпожи Гордон семья была – птичка капнула, однако, послушав госпожу Гордон, можно было подумать, что она высиживала детей в месяц по выводку, начиная с первого дня замужества. Вечно от неё было слышно *Я Нелли вот как растила...* или *И один специалист в Абердине сказал, что Мэгги Джин...* пока она так не доставала собеседников, что те зарекались хотя бы словом ещё раз обмолвиться о детях в пределах мили вокруг Апперхилла. Но Роб с Мельницы, грубиян, как-то раз поглумился над ней, да ещё прямо в глаза, пустившись рассказывать такую историю: *А вот я как-то раз возил своего хряка к одному специалисту в Эдинбург, так тот аж подскочил и как давай распинаться: «Мистер Роб, это совершенно необычный хряк, безумно деликатный, и ТАКОЙ умный, вам следует отдать его учиться в Академию, и когда-нибудь он добудет вам почет и всеобщее уважение».* И госпожа Гордон, услышав это,

---

<sup>31</sup> В оригинале – Not very meikle the day. Фраза представляет собой смешение английского оборота not very much (не очень) с шотландским словом meikle (большой, огромный) и чисто шотландским же выражением the day, являющимся аналогом английского today (сегодня).

вся вспыхнула, покраснела и, забыв свой английский, сказала, что Роб – хамло, каких свет не видывал<sup>32</sup>.

В придачу к двум девкам у Гордонов имелся сын, Джон, такой гнусный гад, какого редко встретишь, он уже успел втянуть в неприятности двух-трех девиц, и это при том, что ему едва исполнилось восемнадцать. Правда, с одной из них его поджидал неприятный сюрприз, её братец был садовником где-то в Гленберви, и, прослышав о случившемся, он явился в Апперхилл и отловил молодого Гордона возле скотного двора. *Ты будешь Джок?* сказал он, а молодой Гордон сказал *Держи, на хер, свои руки при себе*, а парень сказал *Конечно, только сперва вытру их о грязную тряпку*, и с этими словам загрёб с земли коровью лепёху и размазал её по всему молодому Гордону, а потом валял его в навозной канаве до тех пор, пока тот не приобрел такой вид, от которого стошнило бы свинью за ужином.

На шум прибежали мужики из батрацкой хибары, но увидев, что неприятность приключилась всего лишь с молодым Гордоном, только посмеялись, встав вокруг и крича друг другу, что, мол, тут в навозной канаве валяется целая тачка отличного навоза. А поскольку парень из Драмлити, помня о сестре и её позоре, не был настроен быстро прекращать мучения молодого Гордона, то после этого случая целую неделю молодой Гордон выглядел, как полудохлый кот, а вонял –

---

<sup>32</sup> В оригинале – orra tink brute, буквально – «неслыханно грубый бродяга» (шотл.).

как совершенно дохлый, вот же был горький удар по самолюбию хозяйки Апперхилла. Она примчалась к хибаре и принялась наскакивать на старшину артели, серьёзного и хваткого молодого горца, Юэна Тавендейла *Почему вы не заступились за моего Джони?* и Юэн сказал *Меня сюда нанмали старшиной артели, а не нянькой*, он был дерзкий и грубый, невозмутимый до крайности, но при том работник отменный, люди говорили, он нюхом чуял погоду и был земле-робом до мозга костей.

Ну, а восьмое хозяйство в Кинрадди трудно и хозяйством-то было назвать, ибо была это ферма Пути, что по Кинраддской дороге, на полпути между Мельницей и Бридж-Эндом. Всего хозяйства там было домишко в две комнаты<sup>33</sup>, да теснившиеся позади него несколько сараюшек, где старый Пути держал корову и ослика, почти такого же старого, как он сам, и, ей-богу, на вид раза в два симпатичнее хозяина. И люди говорили, что осёл этот прожил у Пути так долго, что стал заикался каждый раз, когда приходила ему фантазия покричать. Потому что старый Пути был, наверное, самым ужасным заикой из всех, которых когда-либо слышали в Мирне, и самым ужасным в этом ужасе было то, что он даже не догадывался о своём заика-

---

<sup>33</sup> В оригинале использовано шотландское название двухкомнатного дома – butt and ben. Butt – означает, «вне, внешний», а ben – «внутри, внутренний». В шотландских маленьких двухкомнатных домиках одна из комнат называется внешней, а другая внутренней. Отсюда название – butt and ben.

нии, и время от времени ему удавалось убедить какого-нибудь пастора, устраивавшего где-нибудь в округе очередной общественный концерт, дать ему поучаствовать. И тогда он взбирался на сцену, старый дурень на трясущихся ногах, и декламировал *Тттрруслиишииввввввий ссссереньккккй ЗВЕРЕК, вввввелллик жжже ттттттввввой И-ИСПУГ*<sup>34</sup> или ещё какой-нибудь стих в том же духе, и слушать его было чистой мукой.

Говорили, что прожил он на своей ферме добрых пятьдесят лет, а до этого его отец арендовал маленький надел на землях Кочки, и едва ли нашлась бы живая душа, знавшая, какое у Пути имя, а может, он и сам его запомнил. Он был старейшим жителем Кинрадди и очень этим гордился, хотя чего уж особо-то гордиться, если ты прожил всю жизнь в сыром скверном домишке, куда, ей-богу, козёл не зайдёт нужду справить. Был он сапожником, этот старик, и сам себя величал Башмачником<sup>35</sup>, старомодное словечко, над которым все потешались. Волосы у него были седые, вечно спадавшие на уши, и вполне возможно, что он мылся на Новый год и на свой день рождения, но уж точно не чаще, и если кто-нибудь когда-нибудь видел на нём что-то, кроме серой рубашки с красным воротом, то этот кто-то явно хранил увиденное в страшном секрете.

---

<sup>34</sup> Стихотворение Роберта Бёрнса «К полевой мыши». Цитата приводится в переводе М. Л. Михайлова (1829 – 1865).

<sup>35</sup> В оригинале Sutor, устаревшее слово, означающее «сапожник».

На ферме Бридж-Энд, что располагалась за истоком Денбарна, хозяйствовал Алек Матч, он приехал сюда из Стоунхейвена, и люди говорили, что был он по уши в долгах, и с таким грузом на шее, как его обжора жена, это, чёрт побери, было не удивительно. Великий трудяга был Алек, и Бридж-Энд – не самая плохая ферма в Кинрадди, хотя земля и сыровата в том месте, где поля фермы граничат с Апперхиллом. Конюшная там была на две пары лошадей, но Алек держал не больше трёх коняг, говорил, что ждёт, пока семья разрастётся, прежде чем взять пару для третьей животины. И семья ждать не заставляла, ибо, хотя ни на что другое госпожа Матч была не способна, однако же редкий год проходил без того, чтобы она не лежала в постели с новорождённым младенцем, Матч уже привык выволакивать себя посреди ночи из постели и мчаться в Берви за доктором. И доктор, это был старый Мелдрум, подмигивал Алеку и кричал *Приятель, да ты, никак, снова?* и Алек говорил *Чёрт, да нынче только глянешь на бабу – как она уже на сносях.*

И некоторые говорили, что он, наверное, глаз со своей хозяйки не сводил, во что, правда, трудно было поверить, ибо она отнюдь не была красавицей, косоглазая, с ленивым взглядом, и ничто не могло её взволновать, то есть вообще, даже если бы все её пять детей разом завопили «Караул!», дым попер бы из очага в комнату, обед бы сгорел, скотина выбралась бы из загона и принялась жевать развешенное по-

сле стирки белье. Она бы только сказала *Да и ладно, через сто лет после того, как я помру, это вообще будет неважно*, и прикуривала сигаретку, ну, чисто беспризорница, ибо она всегда таскала при себе пачку этого добра, и пол-Мирнса судачило про неё и её сигареты.

Из пяти детей в этой семье двое были мальчишки, самому старшему – одиннадцать, и лица у всех пятерых были точь в точь как у Матча – широкие и симпатичные, сужающиеся к подбородку, как у сыча или лисицы, и с большими ушами, похожими на ручки сливочника. У самого Алека уши были таковы, что, поговаривали, будто летом он ими отмахивался от мух, и однажды он ехал домой на велосипеде из Лоренскёрка, пьяный в стельку, и, спускаясь с крутой горки, что перед мостом через Денбарн, принял речку за широкую дорогу и с разгону промчался мимо моста вниз к реке, и с высоты футов в двадцать<sup>36</sup> сверзился вверх тормашками на сырой глинистый берег; и впоследствии он частенько говорил, что, если бы не шлёпнулся на ухо, то наверняка бы вышиб себе мозги, хотя Длинный Роб с Мельницы смеялся и говорил *Вышиб мозги? Господи, Боже мой, Матч, вот уж это тебе никогда не грозило!*

Таков был Кинрадди холодной серой зимой одна тысяча одиннадцатого года, и новый пастор, тот, которого выбрали в начале следующего года, позже говорил, что это было само

---

<sup>36</sup> 20 футов – около 6 метров.

воплощение шотландской деревни, зачатой между огородом и дивным кустом шиповника под крышей дома с зелёными ставнями<sup>37</sup>. И что он хотел этим сказать, догадывайся сам, коль есть у тебя охота ломать голову над загадками и всяким вздором, ибо никаких домов с зелёными ставнями во всём Кинрадди отродясь не бывало.

---

<sup>37</sup> «зачатой между огородом и дивным кустом шиповника под крышей дома с зелёными ставнями» – сложная игра слов и смыслов, с помощью которой автор связывает историю Кинрадди с двумя полюсами тогдашней шотландской литературы. «Огород» по-шотландски – kailyard. Это же слово использовано в названии Кейльярдской школы (1880—1914), литературного течения, для которого было характерно пасторальное идеализированное изображение жизни шотландской деревни. Ярким представителем Кейльярдской (т.е. «Огородной») школы был Иен Макларен, издавший в 1894 году роман «Подле дивного куста шиповника». «Дом с зелёными ставнями» – роман шотландского писателя-реалиста Джорджа Дугласа Брауна, изданный в 1901 году и, в отличие от канонов Кейльярдской школы, натуралистично изображавший жизнь шотландской глубинки и борьбу простых людей за выживание в меняющемся мире. Роман Брауна стал одним из побуждающих импульсов для т. н. Шотландского Ренессанса в литературе, к которому относят и автора «Закатной песни» Льюиса Грассика Гиббона.



# Песнь

## I

### Пахота

Ниже, вокруг того места, где лежала на земле Крис Гатри, июньские вересковые пустоши перешёптывались, и шелестели, и встряхивали своими накидками, жёлтыми от цветущего дрока и слегка присыпанными лиловым – вереском, ещё, впрочем, не вошедшим в полное буйство цвета. На востоке, в кобальтовой сини неба, видны были отблески Северного моря – это в Берви, и могло стать, что ветер в тех краях через час-другой переменился бы, и ты бы почувствовала, как всё вокруг меняется, и услышала, как он, ветер, поёт, словно тронутые струны, принося с просторов моря струящуюся прохладу.

Однако уже который день подряд ветер дул с юга, игриво встряхивал вересковые пустоши и неспешно взбирался на сонные Грампианы, заросли ситника вокруг озера клевали верхушками и трепетали, когда его рука проходила по ним, но он приносил больше жара, чем прохлады, и все поля иссохли, истощились, красная глинистая земля Блавири призывно раскрывала свои борозды в ожидании дождя,

который, казалось, никогда не прольётся. Здесь наверху холмы поражали красотой и жаром, но сенокосное угодье всё растрескалось от засухи, и на картофельном поле за сараями ботва уже вся поникла, рыжая и ржавая. Люди говорили, такой засухи не было с восемьдесят третьего, а Длинный Роб с Мельницы говорил, что по-крайней мере *в этом* Гладстон<sup>38</sup> точно не виноват, и все смеялись, кроме отца. Бог знает почему.

Некоторые говорили, что на севере, ближе к Абердину, дожди лили как из ведра, так что Ди вышел из берегов, и дети вылавливали застрявших на мелоководье лососей, и всё это, наверное, было просто восхитительно, однако ни единого всполоха грозowych туч так и не блеснуло над холмами, дороги, которыми ходишь в кинраддскую кузницу или к Денбарну, покрывались волдырями от жары, и пылищи на этих дорогах было столько, что автомобили катились, пыхтя, как кипящие чайники в клубах пара.

И так им и надо, говорили люди, они вечно на остальных плюют, эти говнюки на машинах; один из таких две недели назад чуть не переехал Уота Страхана, так затормозил напротив Чибисовой Горки – аж колёса завизжали, Уот завыл, как кот с колючкой под хвостом, а Че вышел размашистым шагом и схватил водителя за плечо. И *Ты какого же*

---

<sup>38</sup> Уильям Юарт Гладстон (1809 – 1898) – британский политик, член партии Либералов, четыре раза занимавший пост Премьер-Министр Великобритании. Главный оппонент лидера партии Консерваторов Бенжамина Дизраэли.

*чёрта творишь?* спросил Че. И водитель, он был наряжен щёголем, краги на ногах, надвинутая на глаза шляпа, сказал *Следи за своими щенками, чтобы не болтались по дороге.* И Че сказал *Следи за своим языком, чтобы он был повеселее* и залепил парню-автомобилисту по уху, и тот кувыркком полетел в пыль, и госпожа Страхан, та, что старшая дочь из Недерхилла, выскочила на улицу, вереща *Господь Всемогущий, ты же убил его, дубина стоеросовая!* а Че только засмеялся и сказал *Не боись!* и ушёл.

Но госпожа Страхан помогла щёголю подняться, отряхнула его, почистила щеткой и извинилась за Че, очень вежливо. И единственная благодарность, которую она получила, была такова, что Че прислали повестку с предписанием явиться в Стоунхейвен, обвинили его в нанесении побоев и оштрафовали на фунт, и Че вышел из суда, говоря, что нет справедливости при капитализме, и что революция скоро сметёт его коррумпированных прислужников. И, вполне возможно, что так оно и случится, говорил Длинный Роб с Мельницы, но, ей-богу, пока что примет грядущей революции было так же мало, как намёков на дождь.

Возможно, из-за этой засухи случалась в те дни добрая половина всех раздоров в Долине<sup>39</sup>. Нельзя было пройти по до-

---

<sup>39</sup> Долина – в оригинале Howe, «долина» (шотл.) Имеется в виду Долина Мирнса (Howe of Mearns) на юге Абердиншира, известная развитым сельским хозяйством. Здесь расположены приходы Лоренскёрк, Мэрикёрк, Феттеркёрк, Фордун, Арбутнотт и Гарвок. Самый крупный город Мирнской долины – Лоренскёрк, где издавна находился рынок скота (в наши дни уже не существующий).

роге, не увидев парней с какой-нибудь фермы, подпиравших плечами ворота и злобно уставившихся на небо, или дорожных ремонтников, бедолаг, махавших лопатами подле своих гравийных куч и истекавших ручьями пота; и, казалось, единственными, кому повезло, были пастухи на холмах. Но когда пастухам кричали, чтобы попенять им за их везение, те клялись, что тоже все измучились от жары, что источники в холмах, рядом с которыми паслись стада овец, пересохли или иссякали прямо на глазах, и овцы начинали бестолково бродить, и блеять, и бесить пастуха до тех пор, пока он не отгонял их к другому ручью, который, между прочим, находился в нескольких изнурительных милях ходу. Так что все были на взводе, неотрывно глядели на небо, и пасторы по всей Долине возносили молитвы о ниспослании дождя в промежутках между молебнами об армии и ревматизме Принца Уэльского. Но в смысле дождя толку от их усилий было мало; и Длинный Роб с Мельницы говорил, что, насколько он слышал, с армией и ревматизмом, по большей части, всё тоже оставалось без изменений.

Возможно, отцу следовало получше следить за своим язы-

---

В средние века Мирнс был графством, сейчас это просто объединение приходов. Название Долины Мирнса – Howe of Mearns, дало имя второй части трилогии Гиббона – Cloud Howe, «Облачная Долина». Часто Cloud Howe ошибочно переводят как «Вершины в облаках». Причина ошибки в сходстве шотландского слова howe (долина, низина) с английским how (курган, холм).

ком и оставаться жить в Эхте<sup>40</sup>, там дожди лили не переставая, отличный край в смысле дождя – Абердин, дождь там льёт день и ночь, вымачивая всё насквозь и крутясь вихрями над Городищем<sup>41</sup> и Холмом О’Фер в том дивном северном краю. И мать порой вздыхала, глядя за окно в Блавири, *Ни один край не сравнится с Абердином, и людей не найдешь лучшие тех, что живут на Доне*<sup>42</sup>.

Она, мать, прожила на Доне всю жизнь, она родилась в Килдрамми<sup>43</sup>, отец её был пахарь, зарабатывал он не больше тринадцати шиллингов в неделю, и у него было тринадцать ртов в семье, вероятно, для строгой пропорции. Но мать говорила, что жили они прекрасно и со всем справлялись, никогда она не была так счастлива за всю свою жизнь, как в те дни, когда топала босыми ногами по дороге в маленькую школу, угнездившуюся под уютными холмами. И в девять лет она бросила школу, и собрали ей корзинку, и она сказала своей матери «пока», и отправилась на свою первую работу, опять же босиком, без башмаков, она не носила обуви до двадцати лет. Тогда, в первый раз, это была не совсем заправдашняя работа, мать ничего такого не делала, кроме как гоняла ворон с полей одного старенького фер-

---

<sup>40</sup> Эхт (Echt) – деревня в Абердиншире, на северо-востоке Шотландии.

<sup>41</sup> Эхтское Городище (Barmekin of Echt) – развалины небольшой крепостной стены на холме в северо-западной части Эхта.

<sup>42</sup> Дон (Don) – река в Абердиншире.

<sup>43</sup> Килдрамми (Kildrammie) – селение в Абердиншире на реке Дон. Рядом с селением расположены руины замка Килдрамми.

мера и спала на чердаке, но ей очень всё нравилось, навсегда она запомнила пение ветров в полях в дни её юности, и бестолковое блеяние ягнят, которых она пасла, и то чувство, когда ощущаешь землю пальцами ног. *Ох, Крис, милая моя девонька, есть вещи получше твоих книжечек и уроков, или любви, или постельных дел, есть земля с её лесами, полями и холмами, она вся твоя, а ты – её, пока ты ещё ни ребенок, ни женщина.*

В общем, мать в ту пору работала на усадьбах, была она жизнерадостная и добрая, ты это просто знала, она виделась тебе вся в лучах солнечного света, так, будто ты смотрела на неё издалека сквозь тоннель минувших лет. На втором месте она задержалась надолго, лет семь или восемь там проработала, пока не встретила Джона Гатри на соревновании пахарей в Питторди. И она частенько рассказывала про тот день Крисс и Уиллу, соревнование вышло так себе, ничего особого, лошади скверные, а пахота ещё хуже, почва грубая, над бороздами ветер завывал, так что Джин Мёрдок уже почти собралась уходить домой.

И тут настал черёд симпатичного молодого парня с рыжей шевелюрой и самыми сильными и ловкими ногами, какие ты только видывала, лошади его были убраны ленточками, ладные и живые, и как только он взялся за пахоту, сразу стало ясно, что приз он увезёт с собой. И он его увёз, молодой Джон Гатри, и не только приз. Ибо, уезжая с поля верхом на одной из лошадей, он похлопал вторую по спине и крик-

нул Джин Мёрдок, сверкнув не улыбочивым цепким взглядом *Хочешь – запрыгивай*. И она воскликнула в ответ *Ещё как хочу!* и ухватилась за гриву лошади и повисла на ней, болтаясь, пока рука Гатри не подхватила её и не устроила надёжно на лошадиной спине. Так что с соревнования пахарей в Питторди эти двое уехали вместе, Джин сидела на собственных волосах, были они золотистые и длинные, и смеялась, глядя на серьёзное, сосредоточенное лицо Гатри.

Так началась их совместная жизнь, она была с ним приветлива и добра, но он не смел к ней прикоснуться, порой эта её приветливость так его допекала, что лицо его чернело от злости на Джин. Однако через года два-три они, работая без устали, накопили достаточно, чтобы закупить всякой утвари и мебели, и, наконец, поженились, а потом родилась Уилл, а потом и сама Крис родилась, и Гатри арендовали ферму в Эхте, звалась она Кернду, где и осели на много лет.

Зимы сменялись вёснами, летние дни осенними, стены Городища то нахваливались от мороза, то нежились на солнце, а жизнь всё распахивала свои борозды и погоняла своих лошадей, и суровость всё более затвердевала, твёрдая и холодная, в сердце мужа Джин Гатри. Но блеск её волос всё ещё волновал его, Крис порой слышала, как он, уединяясь с ней, кричал в агонии, а лицо матери постепенно становилось каким-то непонятным, вопрошающим, взгляд её был обращён в далёкое прошлое, в те вёсны, которых ей уже не увидеть никогда, они были драгоценны и полны радости, с Крис или

Уиллом она ещё могла поцеловать и на последний краткий миг удержать их. Потом родился Дод, потом Алек, и беззаботное лицо матери отяжелело. Однажды ночью они, дети, слышали, как мать кричала на Джона Гатри *Четверо в семье – этого довольно. Больше не будет.* И отец гремел на неё, как он это мог *Довольно? У нас, женщина, будет столько, сколько Господь пошлёт по милости Своей. Смотри у меня.*

Он ничего не делал против Божьей воли, отец, и, знамо дело, на Алеке Бог не остановился, послав близнецов, которые родились семь лет спустя. Мать проходила беременность с незнакомым выражением на лице, прежде чем они появились на свет, она утратила свою приветливую радость, и однажды, кажется, ей тогда занедужилось, и отец начал говорить, что надо, мол, организовать доктора и всё необходимое, она вдруг сказала ему *Да не беспокойся. Наверняка твой друг Иегова обо всём позаботится.* Отец, казалось, заledenел, потом лицо его потемнело; он не произнес ни слова, и Крис удивлялась этому, вспоминая, как он взбеленился, когда Уилл без задней мысли произнёс это слово всего неделю назад.

Уилл услышал это слово в Эхтской кирке, где старосты сидят с выбритыми подбородками, держа мешки для пожетований между коленями, ожидая, пока закончится проповедь, чтобы пройти медленным, степенным шагом по рядам скамей, слушая, как пенни скудости смущенно звякает о трехпенсовик достатка. И Уилл в одно из воскресений, борясь



с одолевавшим сном, услышал слетевшее с губ пастора слово *Иегова* и с тех пор благоговейно хранил, полюбив за красоту и великолепие, пока не нашлась бы вещь или человек, или животное, достойное этого слова, стройного, внушительного и величественного.

Так вот, было это летом, в пору блох, слепней и здоровенных жуков в полях, когда молодые бычки вдруг пробуждаются от дремотного жевания и кидаются очумело и бестолково носиться наперегонки, если слепни, прокусывая шерсть и шкуру, впиваются им пониже крестца. Эхт в тот год оживлённо кипел топотом стад, треском ломавшихся ворот, плесканием бычков в прудах и, наконец, жалобными стонами Нелл, старой лошади Гатри, когда её затянуло в водоворот Хайлендских быков и брюхо её прорвалось, как гнилая брюква, от удара огромного изогнутого рога.

Отец увидел случившееся с дальнего конца поля, где они косили сено и складывали снопы в копны, и выругался *Чёрт тебя побери!* и побежал, быстро, как он умел, к стонущей бесформенной гряде, которой теперь была Нелл. И на бегу он подхватил с земли косу и, приблизившись к Нелл, снял лезвие с рукояти и сокрушенно произнёс *Бедная девочка!* и Нелл застонала, роняя с губ кровавую пену и обливаясь потом, и закинула голову, выворотив шею, и отец вонзил ей в шею косу и пилил до тех пор, пока она не умерла.

Таким был конец Нелл, отец дождался, пока сено сложили в копны, а потом отправился в Абердин покупать новую ло-

шадь, Бесс, и вечером приехал домой верхом на ней, встреченный восхищённым взглядом Уилла. И Уилл взял лошадь, напоил её и отвел в стойло, где раньше спала Нелл, дал ей сена и пригорошню овса, и начал чистить её, от холки до пятки, и проходился щёткой по её роскошному выпуклому животу и по хвосту, длинному и волнистому. И Бесс стояла, жуя овёс, и Крис в дверях прислонилась к косяку со своей «Латинской грамматикой» в руке. Так, длинными, сильными взмахами, счастливый, Уилл оглаживал её, пока не добрался до хвоста, и когда он поднял щётку шлёпнуть Бесс по боку, чтобы она сдвинулась к другой стороне стойла и он бы завершил чистку, вспыхнуло в его голове то прекрасное слово, что он трепетно берег. *Подвинься, Иегова!* прикрикнул он, шлёпнув лошадь, и Джон Гатри через весь двор расслышал это слово и пулей вылетел из кухни, на бегу смахивая с бороды крошки овсяного печенья, и, промчавшись через двор, оказался в конюшне.

Однако не следовало ему колотить Уилла так, как он его поколотил, тот упал к копытам лошади, и Бесс повернула голову, роняя овёс, и посмотрела на Уилла сверху вниз, на его лицо, всё в крови, взмахнула хвостом и потом стояла неподвижно. А Джон Гатри отволоч сына в сторону и больше не обращал на него внимания, а вместо этого взял щётку и скребницу и прикрикнул *Тпру, девочка!* и продолжил чистку. Крис до этого стояла и плакала, отворачиваясь и пряча лицо, но теперь она решилась посмотреть на валявшегося

Уилла. Тот медленно сел, лицо было в крови, и Джон Гаттри начал говорить, не глядя на него и продолжая чистить Бесс.

*И запомни, дружок, если я ещё хоть раз услышу, что ты снова поминаешь имя своего Создателя всуе, если хоть раз услышу, что ты опять произносишь это слово, я тебя охолощу. Запомни. Охолощу, как ягненка.*

Поэтому Уилл ненавидел отца, ему было шестнадцать, уже почти мужчина, но отец всё ещё мог заставить его плакать как ребёнка. Иногда он вышёпывал Крис на ухо свою ненависть, когда они ночами лежали в своих кроватях в комнате под самой крышей, на верхнем этаже, и осенняя луна плыла над Городищем, и чибисы свистели над землями Эхта. И Крис закрывала уши и вслушивалась, поворачиваясь то одной щекой к подушке, то другой, и ненависть тоже то охватывала её, то отступала совсем, ненависть к отцу, к этой земле, к жизни в этом краю – о, если бы она тогда знала!

Познакомившись с книгами, она научилась уходить сквозь них в волшебную страну, лежавшую далеко от Эхта, где-то за тридевять земель, где-то на юге. И в школе учителя писали про неё, что она умная девочка, и Джон Гаттри говорил, что, если она будет как следует заниматься, то выучится на кого захочет. Со временем из неё могла бы выйти учительница, и он гордился бы ею, нашептывало Крис то лучшее, что она унаследовала от отца Гаттри, но та часть её, что была от Мёрдок, заливалась смехом и сияла беззаботным милым личиком. Однако всё дальше и дальше отстранялась она

от этого заливистого смеха, собранная, целеустремлённая, она любила слушать про разное, что рассказывали на истории и на географии, редко ей казались смешными странные имена и названия городов навроде Фужер и Кагор<sup>44</sup>, от которых остальные ученики хохотали до колик. И на арифметике она тоже показывала выдающиеся успехи, складывала в уме огромные числа и всегда была быстрее всех в классе, так что ей присвоили звание первой ученицы и вручали награды, за четыре года у неё было четыре награды.

И одна книга казалась ей совершенно дурацкой, это была *Алиса в Стране Чудес*, ерунда какая-то. Была ещё другая, *Что Кэtti делала в школе*<sup>45</sup>, и она обожала Кэти, и завидовала ей, и хотела, как Кэти, жить в школе, вместо того чтобы тащиться зимними вечерами по слякоти помогать возить навоз из коровника, чтобы запах дерьма бил – ох ты! – прямо в лицо. И была ещё третья книга *Риенци, последний римский трибун*, и она местами была хороша, а местами очень утомительна. У него была очень симпатичная жена, у этого Риенци, и они с ней спали, она лежала, обхватив его за шею своими белыми руками, когда римляне пришли, чтобы, наконец, его прикончить. И четвёртая книга, подаренная ей незадолго до того, как в Кернду появились близнецы, назы-

---

<sup>44</sup> В оригинале – Тулон и Тулуза, на созвучии которых с английскими выражениями Too-long (Слишком длинный) и Too-loose (Слишком свободный, просторный) строится игра слов.

<sup>45</sup> What Katy did at School – книга американской детской писательницы Сюзан Кулидж, автора серии книг про непоседливую девочку Кэти и её семью.

валась *Смешные рассказы из шотландской жизни*, и – Господи! – если эта чушь была смешной, то, наверное, она родилась на свет полной тупицей.

И это были все её книги, кроме учебников, и все книги в Кернду, не считая Библий, оставленных им бабушкой, одна для Крис и одна для Уилла, и в той, что для Крис, было написано *Моей дорогой Крис: Доверяйся Богу и живи по правде*. Потому что бабушка, она была мамой отца, не маминой мамой, была очень религиозной и каждое воскресенье, дождь или солнце – не важно, топала в Эхтскую кирку, четыре или пять пасторов сменились, пока она была там прихожанкой. И одного пастора она не могла простить за то, что он говорил не БОГ, как приличные люди говорят, а БОХ<sup>46</sup>, и это был настоящий дар небес, когда он подхватил простуду, слёг и быстренько скончался; а может, это его настиг суд Божий.

Такой была Крис и её книги, и школа, две Крис жили в ней, борясь за её сердце и терзая её. То ты ненавидела этот край и грубую речь людей вокруг, и учеба казалась такой чудесной и замечательной; то вдруг на другой день ты просыпалась, слыша где-то за холмами крики чибисов, всё дальше и дальше, и сердце твоё рыдало, запах почвы в лицо, и чуть не слезы на глазах – до чего же красива и дивна шотланская земля и эти небеса над нею. Ты видела их лица в отсветах огня, отца, и матери, и соседей, прежде чем зажигались лам-

---

<sup>46</sup> В оригинале противопоставляются два варианта произношения слова God (Бог): традиционный go:d и разговорный, свободный вариант god.

пы, усталые и добрые, дорогие и близкие лица, и тебе хотелось знать те слова, которые они когда-то знали и произносили, забытые ими в юности, на заре их жизней, шотландские слова, способные поведать твоему сердцу, как они впились руками в тяжкие труды дней своих, в бесконечную свою борьбу, по капле выжимая её плоды. А в следующий миг это проходило, ты снова становилась такой английской, к тебе возвращались английские слова, такие острые и чистые и точные – до срока, до срока, пока они не начинали выскальзывать из твоего рта так гладко, что ты вдруг понимала – этими словами не скажешь ничего, что действительно стоило бы сказать.

Однако Крис участвовала в конкурсе на стипендию, выиграла его и принялась за спряжение латинских глаголов, совсем не трудных по первости, *Amo, amas, amat* – *люблю я всех девиц*, а потом ты хохотала, когда директор нечаянно сам так сказал, и он кричал *Тихо! Тихо!* но при этом был доволен и улыбался тебе, и было хорошо, до мурашек, и ты чувствовала себя выше всех остальных девочек, которые не учили латынь, если вообще что-нибудь учили, и были кухарками до мозга костей. А потом начался французский, очень сложный, хуже всего было *и*; и один инспектор приехал в Эхт, и Крис от стыда чуть не провалилась сквозь землю, когда он заставил её выйти к доске и говорить *ю-ю, ю-ю, бю-ютон*. И он говорил, *Сложи губы так, будто собираешься сис-теть, но не систи, а скажи «ю-ю, ю-ю, ю-ю»*. И она делала,

как он просил, она чувствовала себя курицей с застрявшим в горле камнем из-за этого инспектора, он был анличанином, со страшным пузищем, и он не мог сказать «свистеть», только «сисъететь».

Потом он пошел садиться в двуколку, которая ждала его, чтобы отвезти на станцию, он вышел и забыл свой дорогой кожаный портфель, и директор увидел это и закричал *Живо, Крис, беги за инспектором, отнеси ему портфель*. Она побежала и догнала его у спортплощадки, он подозрительно уставился на неё и сказал А? потом издал смешок и опять сказал А? а потом *Пасиб*. И Крис пошла обратно к кабинету директора, директор ждал её и спросил, дал ли ей инспектор что-нибудь в благодарность, и Крис сказала *Нет*, и директор был крайне разочарован.

Впрочем, все знали, что англичане ужасно жадные и подлые, и не умеют нормально говорить, и что они трусы, что они изменой схватили Уоллеса и убили его. Но их потом основательно поколотили при Бэннокбёрне<sup>47</sup>, Эдуард Второй ни разу поводов не натянул, пока не доскакал до Данбара, и с тех пор англичан всегда били во всех войнах, кроме Флоддена, и под Флодденом они опять же взяли верх изменой, как про то поется в *Цветах лесов*<sup>48</sup>. Крис всегда души-

---

<sup>47</sup> Битва при Бэннокбёрне (24 июня 1314 года) – важное сражение в ходе Первой войны за независимость Шотландии, окончившееся поражением английских войск. Сама битва стала одной из важнейших вех в истории Шотландии.

<sup>48</sup> Flowers of the Forest – старинная шотландская песня, повествующая о поражении шотландцев в битве при Флоддене (9 сентября 1513 года). Мелодия этой

ли слезы, когда играли эту песню – и очень многие пели её на приходском концерте в Эхте – потому что она была печальной, в ней были слезы по парням, что так и не вернулись к своим девушкам, ждавшим их на жнивье среди снопов, и о девушках, которые так и не вышли замуж, а сидели и смотрели на юг, в сторону английской границы, где их парни лежали, все в крови и грязи, с окровавленными килтами и в расколотых шлемах. И она написала сочинение на эту тему, рассказав в нём, как это всё приключилось, директор сказал, что сочинение получилось прекрасное и что когда-нибудь ей следует попробовать писать стихи, как миссис Хеманс<sup>49</sup>.

Но потом, сразу после сочинения, родились близнецы, и матери было так худо, как ещё никогда не бывало. Она совсем расхворалась и рыдала, укладываясь в постель, когда пришла пора рожать, Крис часами кипятила воду в чайниках, а потом принесли полотенца, заляпанные чем-то, на что она не смела посмотреть, она быстро выстирала их и повесила сушиться. Вечером приехал доктор, он пробыл у них всю ночь, и Дод с Алеком дрожали и плакали в своей комнате, пока отец не поднялся и жестоко их не отшлепал, им что-то было нужно, но они не решились попросить. И отец опять спустился по лестнице, проворный и быстрый, как всегда, хотя он не спал уже часов сорок, и закрыл дверь в кухню,

---

песни традиционно используется во время траурных церемоний.

<sup>49</sup> Фелиция Хеманс (Felicia Hemans) – английский поэт-романтик XIX века.



и сидел, сжав голову ладонями, и стонал, и говорил, что он жалкий грешник, Господи, прости ему похоть плоти его, ещё что-то про её красивые волосы, а потом опять про похоть, но он не хотел, чтобы Крис это слышала, потому что, подняв взгляд и увидев, что она смотрит на него, он рассердился и велел ей накрыть для доктора завтрак – *там, в гостиной, и свари ему яйцо.*

А потом мама стала кричать, доктор вышел на лестницу и сверху позвал *Дружище, дело серьёзное, боюсь, мне понадобится твоя помощь,* и при этих словах отец побелел как полотно, и опять закрыл лицо руками, и закричал *Не могу! Не могу!* Тогда этот парень, доктор, опять позвал *Гатри, ты слышишь меня?* и отец подскочил от злости, и крикнул *Чёрт тебя заberi, я не глухой!* и взбежал по лестнице, быстрый, как всегда, и потом грохнула дверь в комнату, и Крис больше ничего не слышала.

Хотя она и не хотела ничего слышать, ей самой уже стало нехорошо, пока она варила яйцо и накрывала завтрак в гостиной, расстилая белую скатерть поверх зелёной плюшевой, и все предметы вокруг стали мрачными, попрятались в тень и тревожно прислушивались. Потом Уилл спустился по лестнице, из-за матери он не мог спать, они сели рядом, и Уилл сказал, что старик – просто дикое животное, и что матери не следовало рожать, она слишком стара для этого. И Крис посмотрела на него широко раскрытыми глазами, в её мозгу пронеслись пугающие видения, она совсем

растерялась, английской её части стало дурно, она прошептала *Причём тут отец?* И Уилл, сконфузившись, посмотрел на нее, *А ты не знаешь? Когда телёнок рождается, бык, по-твоему, причём, дура?*

Но тут они услышали такой ужасный крик, что оба вско- чили, казалось, какие-то звери, не переставая, разрывали мать клыками на части, и ей было уже невозможно; и потом за этим криком раздался тонкий визг, как поросята визжат, и они старались больше не слышать доносившиеся сверху звуки. Крис варила и варила яйцо, пока оно не стало твердым, как железо. И потом мать ещё раз крикнула, Господи! у тебя просто сердце останавливалось при этих криках, и в этот момент родился второй из близнецов.

Потом наступила тишина, они слышали, как доктор спускался по лестнице, близилось утро, оно замерло, напуганное, за притихшими полями, и слушало, и ждало. Но доктор крикнул *Горячей воды, пару-другую кувшинов, налей мне таз воды, Крис, и мыла рядом положи побольше.* Она крикнула, *Да, доктор,* в ответ, но крикнула шёпотом, он не услышал её и очень рассердился. *Ты слышишь меня?* И Уилл сказал ему, подходя к лестнице, *Слышала, доктор, просто она перепугалась,* и доктор сказал *Чёрт, сама рожать будет – ещё не так перепугается. Налейте воды, быстро!* И они налили воды и пошли в гостиную, когда доктор прошёл мимо, расставив руки и держа их подальше от детей, и запах, шедший от его рук, стал для Крис кошмаром, преследовавшим её по-

том целый день и целую ночь.

Так в Кернду появились близнецы, там и прежде-то всем едва хватало места, а теперь они вообще жили цыганским табором. Но всё же это было очень хорошее место, Джон Гатри и думать не хотел о том, чтобы расстаться с ним, хотя срок аренды был на исходе, и когда две недели спустя мать поднялась с постели, прекрасные волосы её по-прежнему отливали золотом, а глаза вновь стали её прежними ясными глазами, он взбеленился и начал ругаться, когда она заговорила с ним. *Больше места? Зачем нам больше места, чем ужёсть есть? Или ты думаешь, мы джентри какие-нибудь?* закричал он, и опять начал рассказывать, что, когда он маленьким жил в Питтодри, у его матери было девять детей при том, что жили они в доме всего из двух комнат, и их отец был всего лишь пахарь. Однако они прекрасно справлялись, отец вырастил их богобоязненными и порядочными людьми, и если хотя бы один из детей Джин Мёрдок был бы таким же хоть на половину, ей никогда не пришлось бы краснеть от стыда. И мать смотрела на него с полуулыбкой, *Так, так, стало быть, мы должны жить здесь?* и отец задрал на неё свою бороду и крикнул *Да, должны, смипись с этим.*

Однако уже на следующий день он ехал с рынка, телегу тащил старый Боб, когда из-за поворота, за Городищем, на них выскочил автомобиль, плюясь и лая, как взбесившаяся бродячая собака. Старый Боб скакнул и едва не зава-

лил телегу в канаву, а потом встал столбом, до того напуганный, что не мог и шагу сделать, а машина заглохла поперёк дороги. И пока отец пытался оттащить оцепеневшего конягу к обочине, женщина с лицом, изгаженным белилами, румянами, пудрой и дорожной пылью, высунула свою крошечную голову из окошка машины и крикнула *Ты мешаешь движению, дружочек мой*. И Джон Гатри вскинулся как лев: *Я, слава Богу, не твой дружочек, потому что, если бы я им был, я бы выскреб тебе физиономию навозными граблями, а потом велел подметальщику как следует её отмыть*. Женщина чуть не взорвалась от негодования, она отвалилась на сиденье и сказала *Ты этого не слышал. Перепеши его имя с таблички, Джеймс, ты слышишь меня?* И шофёр выглянул, вид у него был сконфуженный, и посмотрел на табличку на борту повозки, и продребезжал *Да, мадам*, и они развернулись и уехали. Вот так надо было обращаться со всяким дерьмом, навроде этих джентри, однако, когда отец подал заявление на продление аренды, ему сказали, что про аренду он может забыть.

И поэтому он глянул в *Пиплз Джорнал* и влез в свой лучший костюм, Крис вытряхнула из него нафталин, отыскала воротничок и широкую белую манишку, чтобы прикрыть его рабочую сорочку; и Джон Гатри потопал в Абердин и сел на поезд до Банкори, чтобы посмотреть там одну небольшую ферму. Но арендная плата была ужасно высокой, и он увидел, что там был край крупных ферм, платежи задушили бы

его, и шансов у него не было. Хотя земля там оказалась отличная, он от неё чуть не ошалел, выглядела просто волшебной, руки сами тянулись на ней поработать; но агент обратился к нему *Гатри*, и он выпалил агенту в лицо: *Ты что за хрен с горы, чтобы звать меня Гатри? Для тебя – мистер Гатри*. И агент посмотрел на него и стал белым, как мел, потом издал короткий смешок и сказал *А-а. Хорошо, мистер Гатри, боюсь, вы нам не подходите*. И Джон Гатри ответил *Да это мне ваше место не подходит, жополиз ты конторский*. Может, он и был беден, но не родился ещё на свет человек, который умел бы задирать нос так, как Джон Гатри.

Так что он вернулся домой и вновь начал свои поиски. И после трехдневной отлучки он вернулся откуда-то изда- лека, с юга. Он таки подыскал одно местечко – Блавири в Кинрадди, что в Мирнсе.

Погода в тот январь была мерзкая, и ночь на Слагской дороге<sup>50</sup> душила путников дождём вперемешку со снегом, когда Джон Гатри повёз свою семью и добро из Абердина в Мирнс. Дважды огромные повозки с надставленными бор- тами, все ещё шуршавшими случайно уцелевшими с сен- тябрьского праздника урожая обрезками шпагата для пере- вязки снопов, увязали колесами в снегу, прежде чем упи-

---

<sup>50</sup> Слагская дорога – Slug road, сейчас трасса A957, соединяющая Стоунхейвен и Кратес в Абердиншире. Название Slug road происходит от гэльского sloc, означающего «горная лесистая ложбина». Слагская дорога на одном из участков идет узким крутым горным перевалом в виде ложбины, т. н. Слагом.

раующиеся лошади оказались перед уходящей вверх кручей Слага. Темнота опустилась, как мокрое одеяло, под которым были усталость и плач близнецов, нарочно оравших, чтобы изводить Джона Гатри. Мать позвала его из своего укромного уголка в головной повозке, где она сидела, прикладывая к груди то одного близнеца, то другого, её голая кожа белела, и полоска ржаво-золотых волос выпадала из темноты, окружавшей её лицо, в свет раскачивающейся лампы: *Нам бы лучше передохнуть в Портлетене, а не пытаться ночью пройти Слаг.*

Но отец выругался в ответ *Какого чёрта? Думаешь, я набит деньгами, как чуело соломой, чтобы останавливаться на ночь в Портлетене?* и мать вздохнула и отняла от груди крошечного близнеца, Роберта, и молоко густыми сливочными каплями пролилось из его мягких, нежных губ: *Нет, мы не набиты деньгами, но может статься, что этой ночью мы опять завязнем и все умрём.*

Возможно, он и сам этого боялся, Джон Гатри, может, гнев его был порождением страха перед этой ночью, но ответить ей он не успел, потому что безумный рёв поднялся на дороге, рядом с которой, взъерошенный ливнем и ветром, колыхался торфяной мох, стелясь под умирающим лунным светом. Скотина здесь сбилась в кучу, хвосты по ветру, и не хотела подниматься по Слагу под жалящими укусами ледяного дождя, маленький Дод плакал и кричал на скотину, на Безрогих Ангусов и Шортхорнов и полукровных

Хайлендских бычков, совсем недавно тучневших, игравших и любивших жизнь на пойменных лугах Эхта, тогда как впереди, на юге, за недружелюбными вершинами, лежал мир холодный и опасный.

Джон Гатри отбросил край брезента, закрывавшего от непогоды его жену с близнецами, и мебель для лучшей комнаты, и разное справное и довольно многочисленное добро, и быстро побежал мимо лошади, туда, где сбился скот. Одним взмахом руки он столкнул Дода в канаву и крикнул *У тебя совсем мозгов нет, засранец?* и размотал с руки длинный узкий отрез коровьей шкуры, служивший ему кнутом. Кнут хрипло затрещал сквозь жгучие укусы ледяного дождя, шерсть длинными бороздами вздыбилась на спинах скота, и через миг один из них, это был маленький Хайлендский бычок, замычал и побежал вперед, и пошёл бодрой рысцой, и остальные потянулись за ним на скользящих и расползающихся раздвоенных копытах, вонь от их навоза, острая и едкая, висела в удушливом тумане дождливой ночи. Впереди на дороге Алек увидел, что они приближаются, и вновь развернул лошадь и пошёл рысью, ведя всех за собой вверх через Слаг в Мирнс, на юг.

Так, с немилосердным скрипом, с тонким взвизгиванием бортов, напрягавшихся под весом поклажи, они миновали то опасное место, повозки вновь принялись монотонно, тяжело наматывать дорогу, первая – с прикрытым фонарем, и с домашним скарбом, и с матерью, кормящей грудью близнецов.

Следовавшая за ней повозка Клайд была нагружена посевным материалом, картошкой, овсом и ячменём, и мешками с инструментом и инвентарём, и разными вилами, крепко перевязанными эспартовым жгутом, и двумя отличными плугами, и бороной, и маслобойной утварью, и зубастой машиной для обрезки репы, рубившей, как гильотина. Нагнув голову против ветра, вожжи брошены, гладкая шкура испещрена хлопьями мокрого снега, шла Клайд, тяжелая поклажа была ей нипочем, красивая, чистая и невозмутимая, мерно шагала она следом за повозкой Джона Гатри, ничто и никто ею не правил и не погонял, кроме его голоса, который она слышала время от времени, через каждые полмили, бодро покрикивавшего *Молодец, Клайд, молодец. Давай, девочка.*

Крис и Уилл были в последней повозке, Уиллу шестнадцать, Крис пятнадцать, дорога всё наматывалась и наматывалась, вверх, прямая и неуклонная, и иногда они прятались под тентом, и вокруг пел снежный дождь, справа и слева, белый и сияющий в темноте. И иногда они вдвоём соскальзывали с бортов повозки к утомленному коняге, к старому Бобу, и бежали рядом с ним, по обеим сторонам, и притоптывали, чтобы согреться, и замечали чёрные кусты колючего дрока, вскарабкивавшиеся на белые холмы рядом с ними, а вдалеке за пустошами – мерцание огней, где люди лежали в кроватях, тепло укутавшись. Но тут шедшая вверх дорога вдруг виляла вправо или влево, взбираясь на какой-нибудь крутой кряж, и ветер опять бил им в лица, и они задыхались



и залезали обратно за борта повозки, ноги и руки Уилла коченели, снежный дождь хлестал по лицу, вонзаясь иглами, Крис было ещё хуже, с каждым поворотом она замерзала всё сильнее и сильнее, тело её было измучено и затекло, колени и бедра, живот, грудь, груди её – всё болело, да так, что она едва не плакала. Но она ничего не говорила, сквозь холод погрузилась она в тяжёлую дремоту, и странный сон привиделся ей, пока они тяжело тащились вверх по этим древним холмам.

В ночи, впереди, появился вдруг бегущий навстречу им человек, отец не видел его или не обращал внимания, хотя старый Боб в этом сне, что привиделся Крис, захрапел и кинулся в сторону. И он заламывал на бегу руки, он был безумен и что-то пел, иноземец, чернобородый, наполовину голый, и он прокричал по-гречески *Корабли Пифея*<sup>51</sup>! *Корабли Пифея!* и пробежал мимо, скрывшись в удушливой пелене дождя и снега, покрывавшей Грампианы, Крис больше не видела его, странный это был сон. Потому что глаза её были открыты, она терла их, хотя в том не было нужды, но если всё это не привиделось ей во сне, то, должно быть, она сошла с ума. Они миновали Слаг, внизу был Стоунхейвен и Мирнс, и где-то вдали, в нескольких милях пути через Долину, мерцала точка света, сиявшая на флагштоке в Кинрадди.

---

<sup>51</sup> Пифей – древнегреческий географ и купец 4 века до н. э., описавший значительную часть Британии.

Так они приехали в Блавири, повалились, измученные, от ночи уже почти ничего не оставалось, и проспали до позднего утра, принесшего с собой холод и морось с моря в Берви. Всё время, пока ещё было темно, они слушали это море, его ух-ух, доносившееся стонами от скал нелюдимого Киннеффа. Джону Гатри делать больше нечего было, кроме как слушать всякую такую хренотень, но Крис и Уилл прислушивались, лёжа в комнате, где они по-быстрому соорудили себе что-то вроде постелей. Чужое место, холод и вздохи этого далекого водного простора не давали Крис заснуть, пока Уилл не прошептал *Давай спать вместе*. Так они и поступили, и сжимали друг друга в объятиях, пока совсем не отогрелись. Но при первом утреннем луче Уилл скользнул обратно под одеяло своей кровати, он боялся, что скажет отец, если застанет их лежащими вместе. Крис возмущенно размышляла об этом, недоумевающая и сердитая английская Крис, пока сон опять её не сморил. Разве могли брат и сестра сделать что-нибудь такое, если спали вместе? Да к тому же она не знала, как.

Но у Уилла, перебравшегося к себе в постель, едва была минутка, чтобы согреться или сомкнуть глаз, прежде чем Джон Гатри уже был на ногах и носился по всему дому, будя каждого, и близнецы проснулись и плакали, прося грудь, и Дод и Алек пытались развести огонь. Отец ругался, бегая по незнакомым лестницам Блавири вверх и вниз, стуча во все двери и спрашивая, не сгорели ли они ещё от стыда,

отлёживая бока в постели, когда полдня уже прошло? Потом он вышел на улицу, дом затих, когда он хлопнул дверью, и он крикнул из-за двери, что пойдёт на холм, посмотрит озеро на пустоши Блавири – *Вылезайте, и соберите завтрак, и займитесь делами, прежде чем вернусь, иначе я вам уши надеру.*

И ей-богу, удивительно, что отцу вдруг вздумалось именно в этот час взобраться на холм. Потому что, пробираясь через заросли дрока, он, Джон Гатри, вдруг слышал, как выстрел расколол утро, тёмное, железное, и Джон Гатри застыл, ошеломлённый, разве Блавири – не его ферма, и не он здесь арендатор? И гнев охватил его, и неспешная прогулка его на этом закончилась. Резвее зайца он бросился вверх по склону холма, между кустами мёртвого дрока, и выскочил к озеру, окаймленному травой и холодному под покровом зимнего утра, с вившейся над ним полоской диких гусей, летевших на восток, к морю. Все они летели на восток, взмахивая воронеными крыльями под небом цвета голубой стали, и только один зарыскал, занырял и стал бить воздух воронеными пальцами перьев, и Джон Гатри увидел, что перья сыпятся с гуся, потом тот испустил дикий крик, как младенец, задыхающийся ночью под одеялами, и обрушился рядом с озером, меньше чем в десяти ярдах<sup>52</sup> от того места, где стоял мужчина с ружьём.

И Джон Гатри осторожно зашагал по траве к этому парню

---

<sup>52</sup> 10 ярдов – чуть более 9 метров.

в щегольских гетрах и с красным лицом, кто он вообще был такой, что стоял тут, как хозяин, на земле Гатри? Тот слегка подскочил, услышав шаги приближавшегося Гатри, затем издал смущенный смешок откуда-то из глубины своей дурацкой физиономии, но Джон Гатри не засмеялся. Вместо этого он прошептал, тихо, *Значит, приятель, ты тут стреляешь*, и парень сказал *Ну, навряд ли того*. И Джон Гатри сказал *Стало быть, ты, вроде как, браконьер?* и парень сказал *Нет, не стало быть. Я Мэйтленд, старшина артели в Мейнсе*, и Джон Гатри прошипел *Ты можешь быть хоть Архангелом Гавриилом, но ты не будешь стрелять на МОЕЙ земле, слышишь ты?*

Стоячие Камни возвышались над этими двумя, испещрённые ветвистым узором разноцветных прожилок, с краями, побелёнными снегом, и ветер напускал такой холод, что плевок замерз бы, не успев долететь до земли, а они стояли и злобно таращились друг на друга. Потом Мэйтленд пробормотал *Эллисон из Мейнса разберется* и ретировался так поспешно, будто боялся, что его нагонит пинок под зад. И Джон Гатри вполне мог, аккурат в серединку его модных штанов, вклеить доброго пинка, однако он благоразумно сдержался, потому что гусь так и лежал у края озера, дергаясь, и струйка крови вытекала из его клюва; и гусь смотрел на Джона Гатри с ужасом в сиренево-серых глазах, а тот ждал, опять же благоразумно, пока Мэйтленд скроется из виду, и потом свернул птице шею и отнес в Блавири. И он рас-

сказал всем о встрече с Мэйтлендом, и если когда-нибудь они услышат хоть один выстрел на его земле, то должны сейчас же бежать к нему и обо всем рассказать, уж он разберётся с чертовым браконьером – будь это иудей, язычник<sup>53</sup> или сам Принц Уэльский.

Так состоялось первое знакомство отца со Стоячими Камнями, он их не любил, потому что как-то раз весной, вечером, отпахав целый день в поле, и, видимо, слегка устав, отправился он побродить по холму до озера и наткнулся там на Крис, лежавшую в летний зной на земле, так же, как она лежала сейчас. Несмотря на усталость, он мгновенно подскочил к ней, плечи расправлены, страшные глаза устремлены на дочь, она не успела закрыть книжку, которую читала, и он выхватил её, взглянул на обложку и закричал *Что за дерьмо?! Ты нужнее внизу, дома, помогать матери стирать пелёнки*. Он бросил мрачный взгляд на Стоячие Камни, и в этот момент Крис в голову пришла глупая мысль, что отец вроде как задрожал, как будто напугался, он, который не боялся никого – ни живого, ни мертвого, ни джентри, ни простолюдина. Хотя, возможно, дрожь эта приключилась из-за его резвости, угодившей в зубастую пасть холодного весеннего воздуха, он постоял, глядя на Камни, и потом сказал, что это мерзость, что те, кто их воздвигал, горят в аду, дикари, прежде бегавшие в звериных шкурах, а теперь оставшиеся

---

<sup>53</sup> Джон Гатри использует оборот из послания апостола Павла к Галатам, 3:28 – «нет уже Иудея, нет язычника;...»

без клочка собственных шкур. И что Крис лучше бы идти вниз и браться за работу, не слышала она сегодня вечером выстрелов?

Но Крис сказала *Нет*, и она правда не слышала выстрелов ни в тот, ни в другие вечера, пока Джон Гатри сам не купил ружьё, подержанную штуковину, которую он подыскал в Стоунхейвене, заряжалась она через дуло, и когда он ехал мимо Мельницы, возвращаясь в Блавири, Длинный Роб вышел, увидел ружье и крикнул *Ух ты, приятель, не знал, что ты ветеран сорок пятого*<sup>54</sup>. И отец крикнул, *Чёрт возьми, Роб! Неужели в ту пору ты уже дурил народ на своей Мельнице?* ибо он мог иногда малость пошутить, но только не в кругу семьи. В общем, он притащил домой это старое ружьё, и зарядил его дробью, и забил шомполом пыжи; и вечерами, на закате, он тихо уходил из дому и подстреливал тут кролика, там зайца, и ни одна живая душа не могла прикасаться к ружью, только он. Да никто и не пробовал до того самого дня, когда он уехал на рынок в Лоренскёрк, а Уилл взял ружье и стал над ним смеяться, зарядил его, и вышел на улицу, и принялся палить по мишени, жестянке из-под селедки, поставленной на столб, пока не наострился так, что стал бить почти без промаха. Но скоро он об этом горько пожалел, потому что отец вернулся домой, и тем же вечером проверил дробь, и начал беситься, пока матери всё это

---

<sup>54</sup> Имеется в виду якобитское восстание 1745 года, когда еще использовались дульнозарядные ружья.

не осточертелю, и она закричала *Да угомонись ты со своим ружьем, что ему сделалось от того, что Уилл немного пострелял?*

Отец сидел в углу у очага, но, услышав эти слова, по-кошачьи вскочил на ноги, глядя на Уилла так, что у Крис кровь похолодела в жилах. Потом он сказал, тихим голосом, как он всегда говорил, когда собирался кого-нибудь из них высечь, *Пойдем в амбар, Уилл*. Мать рассмеялась своим непонятным, беззаботным смехом, который она принесла с собой из тех вёсен в Килдрамми, добрым, чудноватым смехом, и поглядела на Уилла с жалостью. Но Крис стало стыдно смотреть на всё это, Уилл был для такого уже слишком большим, она выкрикнула *Отец, ты не можешь!*

С тем же успехом она могла кричать волнам в Киннеффе, чтобы они держались подальше от суши, отец к тому моменту был уже на пике ярости, он прошептал *Тише, девица, а то я и тебя прихвачу*. И он пошел с Уиллом в амар, и снял с него штаны, хотя ему было уже почти семнадцать, и порол его до тех пор, пока рубцы не засинели поперек его зада и ляжек; и той ночью Уилл не мог заснуть от боли, рыдая в подушку, пока Крисс не скользнула к нему в постель, и она обхватила его руками, и обнимала его, и прижимала к себе, и просунула руку ему под рубашку, и стала нежно гладить, водя пальцами вверх и вниз по истерзанной плоти его тела, утешая его, и вскоре он перестал плакать и заснул, держа её в объятиях, и Крис посетило незнакомое чувство, потому что она знала,

что он взрослее и старше её, и его кожа, и волосы, и тело – всё стало вдруг каким-то незнакомым, не таким, как прежде, как будто они уже не были детьми.

Потом она вспомнила истории Маргит Страхан и почувствовала в темноте, как щеки её вспыхнули от стыда, и потом она снова и снова вспоминала те истории и лежала без сна, глядя в окно на расползающиеся в полуночной тьме бледно-фиолетовые и золотистые отсветы пламени, кравшиеся, скользившие, колыхавшиеся по небу – это горели в Грампианах заросли дрока; и на следующее утро ей страшно хотелось спать, и чего ей только стоило втиснуться в платье, и дойти полями до станции, и сесть в поезд до Колледжа в Данкерне.

Её ведь отдали в Колледж, и после высоких классных комнат старшей школы в Эхте он показался Крис довольно странным, это было маленькое уродливое здание, стоявшее за Данкернской железнодорожной станцией, страшное как грех и почти такое же напыженное, сказала та Крис, которая Мёрдок, Крис, что была от этой земли. Во внутреннем дворе главного здания колледжа имелась вырезанная из камня голова какой-то твари, похожей на телёнка, страдающего от колик, однако все божились, что это был волк на щите, не важно, что бы эта зверюга там ни делала.

Почти каждую неделю учитель рисования, старый мистер Кинлох, организованно выводил тот или другой класс на игровую площадку перед волчищем; и все усаживались на принесённые с собой стулья и пытались эту тварь нарисовать.



Кинлох питал самые нежные чувства к джентри, если ты носила дорогое платье, и у тебя была красивая причёска, и твой отец был человеком не из последних, то он присаживался подле тебя, гладил по руке и неспешно приговаривал напевным голосом, из-за которого все потихоньку смеялись над ним. *Нееееееееееет, не совсем таак* свистел он фистулой, *Бааааааааюсь, эта больше находит на голову одной из свиней с фермы аааааааатца Кристи, чем на геррааааааааальдическое животное.*

В общем, он обожал джентри, этот мистер Кинлох, и видит Бог, среди здешних учителей он не был исключением. Ибо большинство из них сами были сыновьями и дочерьми бедных крофтеров и рыбаков, вскарабкавшись поближе к джентри, они чувствовали себя в безопасности, здесь отступали страхи, вдали от той убогой дыры с вечной овсянкой, и жидким бульоном, и с кроватями без простыней, где они выросли. Потому-то они и глядели свысока на Крис, дочь какого-то, ничего не значившего фермера, хотя её это не трогало, она была девушкой здравомыслящей и неглупой, как она сама себе говорила. И разве не отцовы это были слова, что в глазах Бога честный человек ни чем не хуже какого-нибудь школьного учителя, а, как правило, ещё и чёрт знает насколько лучше?

Но всё равно слегка раздражало, что мистер Кинлох обхаживал девиц навроде Фордайс, хотя лицо у неё было, как разбитая миска из-под овсянки, а голос – будто гвоздем ца-

рапают по грифельной доске. И причиной этих обхаживаний были вовсе не её рисунки, деньги её отца имели к ним гораздо большее отношение, правда, Крис и сама рисовала далеко не как художник, предметами, на которых она блистала, были латынь, французский и греческий, и история. И учитель анлийского задал их классу сочинение на тему *Смерти великих людей*, и сочинение Крис было настолько хорошо, что он даже прочитал его вслух всему классу, и девица Фордайс хихикала и фыркала, так её корёжило от зависти.

Учителем английского здесь был мистер Маргетсон, хотя сам он был не англичанин, приехал он из Аргайла и говорил, забавно подвывая, как подвывают горцы, и мальчишки божились, что у него на ногах между пальцами росла шерсть, как у Хайлендских коров, и, завидев, что он идёт по коридору, они высовывали головы из-за угла и кричали *Мууу!* как стадо коров. Он обычно приходил в страшную ярость, и однажды, когда они опять проделали этот трюк, он пришёл в класс, где Крис ждала начала урока, и стоял, и ругался напропалую, ужасными словами, и схватил чёрную линейку и озирался по сторонам, будто хотел кого-нибудь ею прикончить. И может быть, он кого-нибудь и убил бы, не войди в класс, кокетливо улыбаясь, учительница французского, красивая и яркая, и тогда он опустил линейку, заворчал, скривив губы, и сказал *A? Вот ведь canaille*<sup>55</sup>! и она, учительница французского, опять кокетливо ему улыбнулась и сказала *Чтоб они*

---

<sup>55</sup> Подонки (фр.)

*сгорели синим пламенем*<sup>56</sup>.

Вот таким местечком был колледж в Данкерне, каждое утро две Крис отправлялись туда, и одна была благоразумной и прилежной, а другая сидела безучастно, и только снисходительно посмеивалась над ужимками учителей, и вспоминала холм в Блавири, и лошадиное хрумканье, и запах навоза, и руки отца, коричневые, зернёные, пока у неё не начинало сосать под ложечкой от желания поскорее вновь оказаться дома. Однако она подружилась с юной Маргит Страхан, дочерью Че Страхана, она была стройной, милой и доброй, приятной в общении, хотя говорила о таких вещах, которые поначалу казались ужасными, но потом уже совсем и не ужасными, и тебе хотелось послушать ещё, и Маргит тогда смеялась и говорила, что всё это ей Че рассказывал. Она всегда называла его Че, и это была странная манера говорить о собственном отце, но, может, это от того так было, что он считал себя социалистом и верил, что Богатые и Бедные должны быть Равны. Только какой смысл верить в это, и тут же отправлять дочь получать образование и самой становиться одной из Богатых?

Но Маргит кричала, что он хотел совсем не этого, что ей надо учиться, чтобы быть готовой к Революции, которая когда-нибудь должна произойти. А если Революция так нико-

---

<sup>56</sup> В оригинале ирония состоит в том, что учительница французского в ответ на французское слово отвечает чисто шотландским ругательством *May swee* – «чтоб им сгореть» (шотл.)

гда и не случится, то она всё равно не будет гоняться за богатством, а уедет и выучится на доктора, Че говорил, что жизнь приходит в мир из женщин путями боли, и если Бог и задумывал женщин для чего-нибудь ещё, кроме как вынашивать детей, так это определенно для того, чтобы их спасти.

И глаза Маргит, такие синие и такие глубокие, похожие на колодец, в который ты будто бы заглядываешь, становились глубже и темнее, и её милое лицо принимало такое торжественное выражение, что Крис сама начинала чувствовать себя как-то по-особенному. Но длилось это всего лишь минуту-другую, и вот уже Маргит снова смеялась и улыбалась, и пыталась поразить её, и рассказывала про мужчин и женщин, какими дурацкими они были там, под одеждой; и как рождаются дети, и что надо делать, чтобы они у тебя появились; и про то, что Че видел в хижинах чёрных в Африке. И она рассказывала, что есть такое место, где тела людей лежат, засоленные и белые, в огромных каменных ваннах, пока у врачей не возникает надобность их покромсать, это всё были тела бедняков – *так что постарайся не умереть в бедности, Крис, потому что я совсем не хочу, чтобы однажды, когда я позвоню в колокольчик, мне принесли бы из этих ванн твое голое тело, старое и сморщенное, всё в соляном инее, и я посмотрела бы в твоё мёртвое, чужое и незнакомое лицо, стоя со скальпелем в руке, и воскликнула бы: «Да это же Крис Гатри!»*

Это звучало отвратительно, Крис ощутила острый при-

ступ тошноты и остановилась посреди сияющей тропинки, что вела через поля к Чибисовой Кочке, где застал их тот мартовский вечер. Чистый и ясный, дикий и звонкий, вечер этот выворачивал запах земли прямо тебе в нос и в рот, стоило его открыть, ибо недерхильские работники весь день провели в поле, запах причудливый и любимый, и такой дорогой, подумалось Крис.

И еще кое-что она заметила, глядя на Маргит, борясь с тошнотой при мысли о том, как её мертвое тело принесут к Маргит. И это кое-что было веной, пульсировавшей на шее Маргит, маленькой синей жилкой, вдоль которой кровь пробивалась медленными, тихими толчками, она ведь больше так не бьется, когда человек мёртв и лежит неподвижно под травой, там, в земле, которая пахнет так замечательно, как тебе самой не пахнуть никогда; или когда он лежит, упрятанный в ледяной темноте каменной ванны, уже не видя пламени горящего дрока, не слыша рокота Северного моря за холмами, морского рокота, прорывающегося сквозь утренний туман, всех этих простых и настоящих вещей, которые не будут существовать вечно и, может быть, скоро вообще исчезнут. И только они были настоящими и подлинными, за их пределами ты не могла обрести ничего, кроме усталого сна и того последнего безмолвия тьмы – О, только дурак может радоваться, что живёт!

Но, когда она это сказала, Маргит раскинула руки, и обхватила её, и поцеловала алыми, добрыми губами, были они

такие алые, что походили на ягоды боярышника, и сказала, что в мире много всего восхитительного, которое не будет существовать вечно, и от этого оно становится ещё восхитительнее. *Вот погоди, пока сама не окажешься у своего парня в руках, как-нибудь в жатву, кругом копны сена, а он вдруг перестанет шутить – у них это так заведено, и как раз в этот момент кровавое давление у них подскакивает, ну, ты понимаешь – и он возьмёт тебя вот так – да подожди, всё равно никто не видит! – и ухватит тебя вот так вот, и руки вот сюда положит, и поцелует тебя вот так!*

Это произошло в один миг, быстро и стыдно, но в то же время приятно, щекочуще, и странно, и стыдно – всё по очереди. В тот вечер, после того, как они с Маргит разошлись по домам, ещё долго она оборачивалась и долгим взглядом смотрела на Чибисову Кочку и вновь заливалась краской; и вдруг все, кто жил в Блавири, стали видеться ей какими-то незнакомыми, нагими, словно выбравшимися из моря, и её мутило каждый раз, когда она смотрела на отца и мать. Но это прошло через день или два, ибо всё проходит, ничто не вечно.

Ничто, хотя ты ещё слишком молода, чтобы задумываться об этом, у тебя уроки и занятия, английская Крис, и тебе надо жить своей жизнью, и кормить, и укладывать спать ту, другую Крис, которая вместо тебя вытягивает твои пальцы ног в темноте ночи и шепчет сонное *Я – это ты*. Но всё же ты не могла не подумать об этом, когда в один из дней Мар-

гит, ставшая частью твоей жизни, встретила тебе у Кочки и, помахав рукой, подошла и сообщила, что уезжает в Абердин, где будет жить с тётёй – *Че говорит, студентам там живётся лучше, и там я скорее выучусь.*

И три дня спустя Че Страхан и Крис ехали с ней в сторону станции и прощались с ней на платформе, и она махала им, красивая и юная, Че вдруг впал в странное оцепенение, и Крис внутри чувствовала себя так же. Он, Че, подвез её от станции, и по дороге он заговорил всего однажды, будто сам с собой, не с Крис: *Да, Маргит, девочка моя, всё у тебя будет хорошо, если не станешь разрешать парням целовать твою милую грудь.*

Так уехала Маргит, и в Кинрадди не осталось никого, кто мог бы её заменить, девки из прислуги, ровесницы Крис, были обычными сельскими дурёхами, с визгом носившимися вокруг амбара в Мейнсе от похохатывающих пахарей. И Джон Гатри не видел толку ни в них, ни даже в Маргит. *Подруги? Занимайся уроками и добейся чего-нибудь в жизни, на подруг у тебя нет времени.*

Мать при этом поднимала на него мирный взгляд, совсем его не боясь, она никогда не боялась. *Смотри, чтобы у неё мозги не спеклись с этими уроками и прочей дрянью, говорят, тот мелкий рыжий дурачок с Каддистуна с ума-то от учения и книжеск сбрендил.* И отец выпячивал на неё бороду. *Говорят? А как, по-твоему: лучше ей сбрен-*

дить от учёбы и книжечек или от... тут он запнулся и начал орать на Дода и Алека из-за того, что они расшумелись в углу кухни. Но Крис, уткнувшись в свои книги в мягком свете парафиновой лампы, размышлявшая о походе Цезаря в Галлию и о том, какую бучу этот парень там устроил, точно знала, что отец имел в виду – *похоть*, видимо, было тем словом, что он хотел произнести. И она перевернула страницу с усталым Цезарем, и припомнился ей дикий галоп, которым однажды дурачок Энди носился по дорогам и лесам Кинрадди.

Это случилось как раз после отъезда Маргит, в начале апреля, так что вся деревня потом только об этом и судачила. Была пора сева, Джон Гатри отвел одно поле под траву, и одно под хлеб, взмахивая то одной рукой, то другой, он шагал и мерно разбрасывал зерна, и Уилл таскал ему через всё поле зерно из мешков, стоявших на краю пашни. Крис и сама иногда помогала им в ранние утренние часы, когда роса ещё только выпала, чистый воздух был легкий, и светел, и полон свистами дроздов, сидевших на деревьях Блавири, и отблеск моря по ту сторону Долины, и ветер, обвевавший холмы свежими, дикими запахами, которые охватывали тебя так, что перехватывало дыхание. Мир был настолько тих и безмолвен в те часы, когда солнце только-только выглядывало из-за горизонта, что ты слышала ясные и громкие, как будто он шёл по соседнему полю, звенящие шаги Че Страхана – далеко вниз по склону высветленная лучами солнца чёрточка с тянущейся от неё тенью – засевавшего свои поля за амба-



рами Чибисовой Кочки.

Тем утром, вспоминала Крис, в небе всё время летали жаворонки, свистя и заливаясь трелями, тёмные и невидимые в жарком свете солнца, то один, то другой, пока от сладости их трелей у тебя не начинала кружиться голова, и ты спотыкалась с тяжело нагруженными вёдрами зерна, и отец ругался на тебя сквозь рыжую бороду *Чёрт тебя побери, совсем ты, что-ль, одурела, девка?*

Тем самым утром случилось так, что дурачок Энди улизнул из Каддистуна и обрушил на Кинрадди приступ неистового бесчинства, возмутив всех жителей деревни. Длинный Роб с Мельницы потом говорил, что когда-то у него был жеребец, который обычно вытворял такие штуки рано по весне, принимался скакать через изгороди и канавы и через любое подворачивавшееся живое существо, если вдруг слышал, что рядом проходила симпатичная кобылка. Хоть и был он холощёным, этот мерин, но всё равно этак вот дурил, а Энди, бедный чертяка, он-то разве не был таким же холощёным мерином? Хотя госпожа Эллисон с таким сравнением была совершенно не согласна – ещё бы ей согласиться!

Говорили, она так мчалась, повстречавшись в тот день с дурачком, что сбросила пуд веса, не меньше. Этот негодник гнался за ней почти до самого Мейнса, после чего прятался где-то в перелесках за большим трактом.

Она, госпожа Эллисон, вышла из дому раньше, чем обычно, и только было собралась прогуляться по дороге до Фор-

дуна, когда из каких-то кустов на неё выпрыгнул Энди, его рассыпающееся лицо всё дергалось, а глаза были горячими и влажными. Сначала она подумала, что его кто-то обидел или поколотил, а потом увидела, что он пытался засмеяться, и он ухватил её за платье и, с силой потянув, заорал *А ну, пошли!* Она чуть не упала в обморок, однако не упала, в руке у неё был зонтик, который она тут же сломала о голову дурачка, а потом повернулась и кинулась бежать, и он, припрыгивая, бежал за ней вдоль дороги, подскакивая, как огромная обезьяна, и выкрикивая ей вслед ужасные вещи. Когда показавшийся впереди Мейнс положил конец этой погоне, Энди, видимо, убрался обратно в холмы, где проболтался около часу, после чего заметил, как госпожа Манро, знаменитая крыса, деловито посеменила тропинками от Мейнса к Чибисовой Кочке, а оттуда к Блавири, спрашивая недовольным до крайности голосом, будто виноваты были все, кроме неё, *Вы не видели этого парня, Энди?*

Пока она подымалась к Блавири, он, должно быть, холмами прошел обратно, обогнув поверху Каддистун, пока не зашел Апперхилл. Потому что потом один из пахарей припоминал, что, вроде бы, видел, как по краю неба тащилась фигурка парня с большим пучком щавеля в руке, который он время от времени кусал. Потом он оказался в Апперхилльском лесу и притаился там, и как раз через этот лес в девять часов Мэгги Джин Гордон держала путь к станции – лес, через который шла тропинка, был густой, дремучий, лист-

венничный, свет сюда едва пробивался, и шишки хрустели и расползались гнилью под ногами, и порой зелёная стена базальтовых столбов поднималась из лесного оврага и тарасилась на тебя, и зимой олени спускались сюда с Грампианских гор, находя себе здесь укрытие.

Но в апреле там не было оленей, которые могли бы напугать Мэгги Джин, и даже дурачок её не напугал. Он поджидал глубоко в лесу, прежде чем схватить её, а может быть, перед этим он какое-то время тихо бежал рядом вдоль тропинки, которой она шла, прячась от девичьих глаз, потому что, как она потом припоминала, рядом то и дело раздавался какой-то тихий хруст, и она ещё удивлялась, чего это белки так рано распрыгались. Она носила имя Гордон, но не сказать, что ей это особо помогло, живая была, маленькая девчонка, тоненькая, с красивыми каштановыми волосами, ходила, держа спину прямо, и в глаза другим смотрела прямо, и тебе нравилось, как она смеялась.

Так и шла она через лес, прямо в руки к дурачку, и когда он схватил её и поднял, даже тогда она не испугалась, и даже когда он потащил её куда-то вглубь леса, ветки дрока хлестали их по лицам, и роса осыпалась на них, пока он тащил её на крохотную полянку, окружённую зарослями дрока, где солнце протягивало к земле сквозь полумрак свой длинный палец.

Когда он усадил Мэгги Джин на землю, она поднялась, и отряхнулась, и сказала ему, что она больше не может иг-

рать, ей правда надо спешить, иначе она опоздает на поезд. Но он не обращал на её слова никакого внимания, упав на одно колено, он мотал головой туда-сюда, дёргался в разные стороны, всё время прислушиваясь, так, что Мэгги Джин тоже стала прислушиваться и слышала, как пахари кричали на своих лошадей, и как её мать в эту минуту созывала кур, чтобы покормить их – *Цыпа-цыпа-цыпа! Цыпа-цыпа-цыпа!* – Ну, всё, мне пора, сказала она ему, и подхватила свою сумку, и не успела сделать и шагу, как он опять схватил её; прошла минута, другая, хотя она даже тогда не испугалась, он ей не нравился, и, пожалуйста, ей надо было идти. И она глядела на него, отталкивала его, его безумную, отвратительную голову, а он начал урчать, как огромный дикий кот, мерзко, наверное, было смотреть на него и слышать это урчание.

И одному Богу ведомо, что бы он сделал в следующий миг, но тут, а никогда ещё не выдавалось такого ясного и чистого утра, где-то вдали, внизу, за полями кто-то запел, далеко, но очень отчетливо, весело выводя живой, переменчивый мотивчик. Потом он прервал песню и стал насвистывать, а потом запел снова:

*Крошка моя,  
Радость моя,  
Если б была ты моей,  
Как жемчужину  
Тебя бы*

*На груди*

*Хранил своей!*<sup>57</sup>

И тут, припадая к земле и вслушиваясь, дурачок отнял руки от Мэгги Джин и сам начал петь; и потом опять взял её на руки, но осторожно, обхватив, как кошку, и поставил её на ноги, и одернул на ней платыице; и встал рядом с ней, взял её за руку и отвел обратно к тропинке, что шла через лиственничный лес. И она пошла дальше, а он остался, и она один раз обернулась и увидела, что он пристально смотрел ей вслед; и увидев, что он плакал, она бросилась обратно к нему, добрая душа, и похлопала его по руке и сказала *Не плачь!* и увидела его взгляд, взгляд измученного зверя, и опять пошла к станции. И рассказала она о своей встрече с каддистунским Энди, только вернувшись вечером домой.

Однако день шёл своим чередом, и Длинный Роб, трудясь на своём странном поле за Мельницей, всё пел и пел, и ругался на своих лошадей, его-то пение, должно быть, и заставило Энди выйти из лиственничного леса – вдоль живых изгородей, таясь и ускользая от взглядов апперхильских работников в полях. И один раз Роб поднял голову, и ему показалось, что тень скользнула в канаве, тянувшейся по границам его странного надела. Но он решил, что это собака, и только запустил камнем или чем-то вроде того на случай, если это какая-нибудь тварь в пору течки, или если она явилась воро-

---

<sup>57</sup> Здесь и далее песни и стихи в переводе Р. Д. Стырана.

вать кур. Тень при этом взвизгнула и зарычала, но, когда Роб поднял ещё один камень, убежала из канавы; и он продолжил работу; и дурачка, улепётывавшего по Кинраддской дороге в сторону Бридж-Энда с тонкой струйкой красной крови, стекавшей по его горестному лицу, он так и не увидел.

Однако прямо на повороте, неподалёку от того места, где дорога резко уходит в сторону возле хозяйства Пути, он едва не налетел с разбегу на саму Крис, возвращавшуюся из Охенбли, куда мать послала её по каким-то делам, с корзинкой на локте и с мыслями, витавшими где-то далеко-далеко, вокруг латинских глаголов, оканчивающихся на *-are*. При виде неё у Энди изо рта потекла слюна, он бросился к Крис, и она закричала, хотя и не очень испугалась; и потом она запустила корзинкой ему прямо в голову и бросилась к дому Пути. Сам Пути сидел у себя, и когда Крис добежала до двери, подпрыгивавшая на бегу скотина была в паре шагов за ней, она слышала его тяжёлое дыхание и впоследствии часто удивлялась спокойствию, охватившему её тогда. Она птицей ворвалась в дом, и с грохотом захлопнула дверь прямо перед лицом дурачка, и задвинула засов, и смотрела, как выгибались и трещали доски, когда тело безумца с разлету врезалось в них снаружи снова и снова.

Пути в полумраке начал, заикаясь, что-то ей говорить, но, когда она втолковала ему, что к чему, он расхрабрился, навострил два своих башмачных ножа и стал, дрожа, бродить от окна к окну – дурачок их не тронул. Потом Крис поти-

хоньку глянула в одно из окон и опять увидела его: он шарил в корзинке, которой она запустила ему в голову, и расшвыривал свёртки по дороге, пока не нашёл большой кусок мыла, и тогда он начал его есть, фу-у! смеясь и что-то быстро без умолку говоря сам себе, и побежал обратно к дому, чтобы снова грохнуться о дверь Пути, жёлтая пена прорывалась сквозь его бороду, а он всё ел и ел мыло.

Однако вскоре им овладела жажда, и он пошёл к ручью, Пути и Крис стояли и наблюдали за ним, и тут появился сам Каддистун, приближавшийся по дороге. Он увидел Энди и окрикнул его, и Энди перепрыгнул через ручей и был таков, и Манро побежал за ним следом, бренча и грохоча, и они скрылись из виду на дороге в сторону Бридж-Энда. Крис откинула засов, не обращая внимания на причитания заикавшегося Пути, и пошла опять сложить всё в корзинку, и всё было на месте, кроме мыла, потому что мыло было в животе бедолаги Энди.

В тот день он вряд ли что-то ещё съел, силы его были почти на исходе; и хотя он бежал как заяц, а Каддистун у него за спиной был в ногах совсем не крепок, но всё же судьба распорядилась так, чтобы Матч из Бридж-Энда вёл свою артель через дорогу боронить поле, которое засевалось по второму году, как раз в тот момент, когда появились эти два бегуна, вид у обоих был дурной до крайности, Энди бежал почти вдвое быстрее, мыло и безумие кипели пеной на его лице, Каддистун с ревом – позади.

Тогда Матч остановил своих артельщиков и крикнул Энди, *Эй, дружище, не стоит тебе так шибко бегать*, и, когда Энди поравнялся с ним, выставил ногу, и Энди, споткнувшись об неё, повалился прямо в пыль, и через мгновение Каддистун уже сидел на нем, молотя Энди по физиономии, а Алек Матч просто стоял рядом и смотрел, возможно, слегка пошевеливая своими огромными ушами, его это всё не касалось. Руки дурачка взметнулись к лицу под градом ударов, а потом Каддистун ухватил его за чувствительное интимное место, Энди вскрикнул и обмяк мешком в руках Каддистуна.

И на этом похождения Энди закончились, потому что его доставили обратно в Каддистун, и поговаривали, что госпожа Манро стянула с него штаны и сурово выпорола; впрочем, никогда не знаешь, где люди врут, а где нет, потому что другие говорили, будто на самом деле она выпорола Каддистуна за то, что он позволил дурачку в то утро уйти из дому и опозорить её имя своими бесстыдными выходками. Самому бедняге они второго шанса не дали, на следующий день приехали люди из дурдома и увезли его в двуколке, крепко связав ему руки за спиной; и с тех пор Энди в Кинрадди больше не видели.

Отец страшно рассвирипел, услышав эту историю от Крис, злился он как-то странно, отвел её в амбар и слушал её рассказ, и глаза его скользили вверх-вниз по её платью, пока она говорила, так что её охватила дурнота, и её было



очень не по себе. *Так, в итоге, он тебя опозорил?* прошептал он; и Крис мотнула головой, и отец тогда словно обмяк, и глаза его потускнели. *Ну, понятно, в таком безбожном приходе, как zdeшний, этого надо было ожидать. У Преподобного Гиббона такое вряд ли повторится.*

Трое пасторов приезжали в Кинрадди примериться к приходской кафедре. Первый прочитал свою проповедь в начале марта, более задрюганного создания трудно было сыскать, не выше пяти футов<sup>58</sup> росту, по крайней мере, с виду. Носил он щегольскую мантию с пурпурным капюшоном, словно какой-нибудь католик, и всё дергался и скакал вокруг кафедры, как хворый кулик, натужно вымучивая что-то про *Нынешнее разномыслие в Церкви Шотландии*. Но у Кинрадди насчет *него* разномыслия не возникло, и Крис, возвращаясь из кирки с Уиллом и отцом, слышала, как Че Страхан говорил, что он скорее согласится на квохчущую курицу, чем на *это* в роли пастора. Вторым, попытавшим судьбу, был старый маленький человечек из Банфа, трясущийся и древний, и некоторые говорили, что он подошёл бы лучше всех, он в свои годы уже уgomонился и не стал бы все время по-сма-тривать по сторонам – как бы перебраться в кирку побольше с жалованием повыше. Ибо, если кто на свете и был способен сдирать последнюю сорочку с бродяги и проповедовать о пенсии в чистилище – так это пастор Старой Церкви.

---

<sup>58</sup> 5 футов – 1,52 метра.

Однако несчастный старый дурень из Банфа выглядел совсем уж иссохшимся. Он бы стал год за годом писать книжки и заниматься подобными вещами, биение пульса жизни давно тонкой струйкой перетекло из его тела в перо, к тому же он прочитал свою проповедь, и уже этого было достаточно, чтобы свести его шансы к нулю.

Почти никому не было дела до того, что он там сочинил, кроме Крис и её отца, ей проповедь показалась превосходной, потому что он говорил о давно вымерших чудовищах, населявших землю Шотландии в те времена, когда по всей Долине леса джунглей распускались цветами, и красное солнце восходило над дымящейся землей, на которую ноге человека ещё только предстояло ступить; и он рассказывал о тёмных, медленно тянувшихся племенах, странствовавших через равнины, омываемые северными морями, и о том, как огромные медведи наблюдали за их приближением, а они охотились и ловили рыбу, и любили, и умирали, дети Бога на заре времён; и он говорил о первых путешественниках, приплывших к гулким берегам, они привезли языческих идолов великих Каменных Кругов, Золотой век закончился и ушёл, и похоть и жестокосердие грузно шагали по миру; и он говорил о Воскресении Христовом, о крохотной точке космического света, засиявшей далеко-далеко, в Палестине, света, что распространялся тихо и незаметно, трепетал, как свеча на ветру, и не погас, света, которому ещё предстояло воссиять, подобно солнцу, над всем миром, и,

конечно же, над тёмными долинами и холмами Шотландии.

Ну, и что из этой билиберды можно было понять, кроме того, что он считал Кинрадди каким-то диким местом, раз джунгли завяли и рассыпались? И молитвы он читал наспех, едва ли единым словом помянул Короля и Королевскую Семью, этот Преподобный Кахун. Это сразу настроило против него Эллисона и Матча, эти двое стояли за Короля горой, были готовы умирать за Короля каждый будний день и дважды по воскресеньям, как говорил Длинный Роб с Мельницы. И Че Страхану эта проповедь тоже не доставила ни малейшего удовольствия, ему бы хотелось, чтобы проповедник расхваливал социализм и вещал о том, что Богатые и Бедные должны быть Равны. Так что даже те немногие, кто вслушивался в проповедь, остались невысокого мнения о старом книгописце из Банфа, шансов у него не было, поскольку понравился он только Крис и её отцу, Крис не шла в счёт, Джон Гатри в счёт шёл, но его голос оказался единственным, так что, когда дошло до голосования, пришелец из Банфа не получил почти ничего.

Стюарт Гиббон был третьим, кто пробовал заселиться в Пасторский Дом Кинрадди, и в то воскресенье, когда Крис сидела в кирке и смотрела на него, стоявшего за кафедрой, ей стало ясно как день, что он понравится всем, хоть он и был только-только со студенческой скамьи, черноволосый, с приятным румяным лицом, крепкими плечами, крупного, хорошего телосложения, привлекательный был мужчина. И пер-

вое, что их впечатлило – его голос, он звучал смело и сильно, как рёв быка, красиво и широко, и он произнес Господню Молитву так, что угодил и джентри, и простым людям. Ибо, хоть он и молил простить ему его грехи так же, как он прощает согрешившим против него – вместо более изысканного моления об оставлении долгов его также, как он оставляет должникам своим – всё равно делал он это с возвышенной торжественностью, настраивавшей каждого слушающего на степенный и серьезный лад; и один или двое начали подтягивать ему под конец молитвы, а такое весьма редко случалось в кирках Старой Церкви.

Затем последовала его проповедь, темой он взял *Песнь Песней Соломона*, и говорил он красиво, как-то необычно, показывая слушавшим, что в Песни было несколько смыслов. Она была Христовым описанием красоты и изысканного благообразия Старой Церкви Шотландии, и в этом смысле читать её следовало с должным благоговением; также она была образом женской красоты, что создавала саму себя по образцу стройности и изящества Церкви, и в этом смысле она являлась неустаревающим правилом для женщин Шотландии, указывающим им путь к жизни добродетельной и прекрасной в этом мире и к спасению в мире ином. И уже через минуту весь приход Кинрадди слушал его так, будто он обещал заплатить за них налоги к Дню Святого Мартина<sup>59</sup>.

---

<sup>59</sup> День Святого Мартина, Martinmas – 11 ноября, один из традиционных спо-

Ибо где-то внутри начинало приятно щекотать, когда ты слышал, как о таких вещах говорилось вслух с церковной кафедры, о женских грудях и бёдрах и о всём остальном, голосом, подобным рёву священного тельца; и при этом ты точно знал, что это всё благопристойное Писание, с высоким смыслом к тому же. Так что все разошлись по домам к воскресному обеду весьма довольные новым молодым пастором, хотя и был он едва со студенческой скамьи; и в понедельник Длинный Роб с Мельницы замучился снова и снова слушать про эту проповедь, и сложил два и два, и сказал *Ну, что... Такие проповеди – отличный способ втихаря познать своё небольшое удовольствие прямо на церковной скамье, но я как-то склонен получать свои удовольствия в более уединённой обстановке.* Но, говорили люди, в этом был весь Роб, всегда надо держать ухо востро с ним и с его Ингерсоллом, который не умел ни часы нормальные сделать, ни рассудить здраво. В общем, мало кого в Кинрадди слова Роба удержали от того, чтобы потопать на выборы и проголосовать за последнего кандидата.

Так он, Преподобный Гиббон, и прошёл с подавляющим большинством голосов, в середине мая он поселился в Пасторском Доме, он и его жена, англичанка, на которой он женился в Эдинбурге. Она была молодая, как и он сам, красивая тонкой и стройной красотой, со смешным голосом, навряд ли как у Эллисона, очень похожим, но всё же иным,

и с большими тёмными глазами, и были они с пастором так страстно влюблены, что их служанка рассказывала, будто они целовались каждый раз, когда он, пастор, ненадолго уходил из дому. И однажды, вернувшись с прогулки и увидев, что жена его дожидается, пастор взял её на руки и бегом взлетел с ней по лестнице наверх, и оба обнимались, целовались и смеялись, глядя друг на друга сияющими глазами; и они удалились в спальню наверху, и закрыли дверь, и не спускались несколько часов, хотя была ещё только середина дня. И, может, так оно и было, а может, и нет, ибо ту служанку старая госпожа Синклер наняла для Пасторского Дома из Гурдона, а всем известно, что скорее ручей Берви побежит обратно через Долину, чем гурдонская девица скажет правду.

С той давней поры, когда Время начало своей бег в Кинрадди, каждый пастор, приняв должность, объезжал весь свой новый приход. Некоторые делали это сразу после избрания, другие тянули, сколько могли, Преподобный Гиббон был из тех, кто поспешал. В одно из воскресений он явился в Блавири, как раз после обеденного часа, и увидел Джона Гатри, который вострил мотыгу во дворе, сорняки лезли из земли Блавири во все стороны, как ребятня из школы после окончания уроков, это была очень грубая земля, сырая, давно непаханная, к тому же – красная глина, чем лучше отец её узнавал, тем больше портилось его настрое-

ние. Поэтому, когда пастор подошёл и с неподдельной сердечностью выкрикнул *Ага, так это ты, дружище, будешь моим соседом Гатри?* отец вздернул рыжую бороду, уставив её на пастора, и бросил на него взгляд, холодный, как сосулька, и сказал *Да, МИСТЕР Гиббон, это буду я.* Так что пастор протянул руку, тут же сменив тон, и продолжил тише *А у вас здесь отличное хозяйство, ухоженное, Мистер Гатри, так всё ладно и чисто, хотя, я слышал, вы всего шесть месяцев как здесь поселились.* И он улыбнулся широко и сочно.

И дальше они беседовали совсем по-приятельски, один усадил другого на ручку навозной тачки прямо посреди двора, пастор не выказал ни малейшей тревоги за свой щегольской чёрный костюм; и отец рассказывал ему, какая грубая земля в Кинрадди, и пастор говорил, что он охотно верит, и что только человек с севера мог так толково с ней управляться. Через минуту они уже были дружны как братья, отец завёл его в дом, Крис была в кухне, и отец сказал *А эта девица – моя дочь, Крис.* Пастор улыбнулся ей, блестя чёрными глазами, и сказал *Я слышал, что ты очень смышлённая, Крисси, и учишься в Данкернском колледже. Как тебе там нравится?* И Крис покраснела и сказала *Очень нравится, сэр,* и он спросил её, кем она хочет стать, и она сказала, что учителем, и он сказал, что нет профессии благороднее.

Потом пришла мать, укладывавшая близнецов, и была тиха и доброжелательна, какой она, увенчанная золотом своих чудесных волос, всегда бывала с мальчишками и с лэйрдами.

Она налила пастору чаю, и он нахваливал его и говорил, что лучше чая, чем в Кинрадди, он не пивал за всю жизнь, и что дело было в молоке. И отец спросил, откуда приносят молоко в Пасторский Дом, и пастор сказал *Из Мейнса*, и отец вздернул бороду и сказал *Ну, это, должно быть, доброе молоко, у них, сволочей, там лучшая земля во всём приходе*, и пастор сказал *Ну, мне, пожалуй, пора. Пойди потихоньку домой. Заходи навестить нас как-нибудь вечером, Крисси, может быть, мы с женой одолжим тебе какие-нибудь книжки для занятий*. И он ушёл, достаточно проворно, но не с той летящей быстротой, с какой вышагивал рядом отец, провожая его до того места, где дорога расставалась с полем репы.

Крис отправилась в Пасторский Дом вечером следующего дня, это был понедельник, ей подумалось, что это, наверное, самое подходящее время, однако отцу она ничего не сказала, только матери, и мать улыбнулась и ответила *Конечно*, она, казалось, была далеко, в каких-то своих мечтах, последний месяц с ней такое часто случалось. Так что Крис надела своё лучшее платье, воскресное, и высокие ботинки на шнуровке, хорошенько причесалась перед зеркалом в гостиной и пошла через холм, мимо озера Блавири, а тем временем ночь уже сгущалась над Грампианами, и сотни бекасов кричали за серыми водами озера – гладкого и серого – словно не могли забыть ушедшее лето и не верили, что оно когда-нибудь вернется.

Стоячие Камни отбрасывали на восток длинные острые



тени, так же, наверное, как они это делали по вечерам тысячи лет назад, когда дикие люди взбирались на холмы и пели свои песни, прячась в этих тенях, пока закатное солнце замирало в ожидании над теми же самыми тихими холмами. И в этот момент странное, незнакомое чувство накатило на Крис, она оглянулась назад, слегка испугавшись Камней и того, каким белым вдруг стало озеро, и торопливо зашагала по тропинкам через поле, пока не вышла к церковному погосту и Пасторскому Дому. За дорогой высился Большой Дом, вокруг которого удушливо толпились деревья, видны были развалившиеся стены, на флагштоке уже горел огонь, скоро должно было стемнеть.

Она отперла калитку кладбищенской ограды и пошла через погост к Пасторскому Дому, старинные могильные камни безмолвно стояли вокруг, конечно, не такие уж древние, если вспомнить о Стоячих Камнях на холме Блавири, но всё равно довольно старые. Некоторые были из седых недобрых времён Ковенантистов, на одном был изображён череп со скрещёнными костями и песочные часы, он наполовину зарос мхом, так что едва можно было разобрать бессмысленную надпись с буквами S, похожими на F, и от этого камня мурашки бежали по телу. Ту часть кладбища, где стояли самые древние камни, захватили тисовые деревья, и Крис, шагая между ними, протянула руку, чтобы раздвинуть заросли, и низко свисавшая ветка тиса что-то прошептала, и тихонько засмеялась у неё за спиной, и прикоснулась к её руке, хо-

лодная и мохнатая, так что Крис вскрикнула совсем по-детски, так глупо, и немедленно пожалела, что не пошла в обход по нормальной дороге, а вместо этого выбрала короткий путь, показавшийся ей таким удобным.

Так она торопливо шагала, насвистывая себе под нос, и вот – там, где кончалось кладбище, стоял их новый пастор собственной персоной, прислонившись к воротам и блуждая взглядом между камнями, он заметил её прежде, чем она увидела его, и голос пастора заставил её вздрогнуть. *А ты, Крис, очень мила*, сказал он, и ей стало стыдно, потому что он слышал, как она свистела на кладбище; и он рассматривал её странным, незнакомым взглядом, и, казалось, на минуту забыл о её присутствии; потом он издал странный смешок и пробормотал себе под нос, но она расслышала его слова, *Одной за день достаточно*. Потом он будто очнулся и проревел бычьим голосом *Ты, наверняка, за книжкой. У нас дома сегодня полный кавардак, весенняя уборка, ну, или навряд ли того, но, если ты подождешь здесь минутку, я сбегаю и подберу тебе что-нибудь лёгкое, нескучное*.

Он ушёл, она осталась одна среди чёрных деревьев, склонявшихся над серостью погоста. Невидимые травы без умолку шелестели и шептались над смутными очертаниями распростёртых надгробий, и она подумала о мёртвых под этими камнями, о фермерах, и пахарях, и их женах, и о маленьких детях, и новорождённых младенцах, их тела уже превратились в скелеты, так что, если раскопать землю, найдёшь

только их кости, не считая недавно похороненных, и, может быть, там, в темноте, черви и мерзкие твари ползали, истекшая гноем, в гнилой и почерневшей плоти, и это было очень страшное место.

Но тут, наконец, появился пастор, он совсем не спешил, а шёл к ней медленно, задумчиво, он протянул ей книгу и сказал *Ну, вот, держи, надеюсь, тебе понравится.* Она взяла книгу и посмотрела на неё при умирающем свете дня, книжка называлась *Religio Medici*, и она, поборов стеснение, спросила *А вам, сэр?* и пастор посмотрел на неё пристально и сказал, голос его был ровным, как всегда, *До чёртиков!* и развернулся, и оставил её один на один с ужасом обратной дороги, лежавшей через заросли тисов. Однако теперь они её совсем не пугали, она пробиралась обратно домой и размышляла о том слове, которое он произнёс, это ведь было не что иное, как ругательство, следовало ли рассказать об этом отцу?

Но нет, так нельзя, пастор был всего лишь обычным человеком, и он одолжил ей книгу, мило с его стороны, хотя выглядел он странновато. И к тому же отец не знал про её поход в Пасторский Дом, он мог подумать, что она пытается сойтись с джентри, и тогда он сам стал бы ругаться. Хотя ругался он, отец, не так уж часто, говорила она сама себе, проворно, торопливо шагая по холму, восходя из сумрака ночи в последний отсвет майского дня, и закат полыхал заревом, и отблески его плясали у ног Крис, будто поджидали её;

нет, не часто, только когда всё шло совсем уж наперекосяк, как в тот день, во время сева, на поле ниже Блавири, когда сначала сломалась оглобля у телеги, а потом молоток переломился, а потом он увидел, что собирается дождь, взбелевился, и накинулся на Уилла и Крис, и выпорол их так, что у них едва осталось с грошик нетронутой кожи на том месте, на котором сидят; а потом, как полоумный, он грозил небу кулаками и вопил, *Ну, давай же, Подлюга, давай, смейся!*

Крис полистала *Religio Medici* и чуть челюсть не вывихнула от зевоты, пока читала, помогать матери стирать одеяла в погожий выходной день – и то было веселее. На дворе, разомлевшем и замершем под жарким солнцем, Джин Гатри выстирала бельё со всех постелей в Блавири, а одеяла сложила одно на другое в корытах, до половины наполненных едва тёплой водой и мылом, и Крис сняла ботинки и чулки, и высоко закатала панталоны на белых ногах, и ступила в серые пенившиеся складки одеял, и топтала их так и эдак. Ей это нравилось, вода чавкала и клокотала, расходясь синевой и вытекая радужными разводами между пальцами ног, и становилась всё гуще и гуще; потом – в следующее корыто, пока мать вынимала одеяла из первого, славное занятие, казалось ей, она могла бы вечно топтать одеяла, единственное что – становилось всё жарче и жарче, тянулись раскалённые до красна предполуденные часы, пока они занимались стиркой. И когда мать снова ушла в дом, она скинула юбку, а по-

том подъюбник, и мать, выйдя с очередным одеялом, воскликнула *Господи, совсем заголилась!* и беззлобно шлёпнула Крис по панталонам и сказала *Из тебя, Крис, девонька, вышел бы ладный парень*, и улыбнулась своей беззаботной улыбкой, и вновь принялась за стирку.

Но тут Джон Гатри вернулся с поля, вместе с Уиллом, и едва мать увидела, с каким лицом отец смотрел на Крис, как вся вдруг словно осунулась и закричала *А ну, бесстыдница, убирайся живо, и пойдёшь оденься, мерзавка!* И она ушла, побелев от стыда, больше от стыда за отца, чем за себя, и Уилл покраснел и увел лошадей, сконфузившись, но Джон Гатри размашисто прошагал через двор к кухне, подошёл к матери и стал орать на неё. *Что люди подумают о девке, если увидят, как она сидит тут, почти голая? Про нас вся округа трепаться будет, на весь мир посмеищем станем.* И мать посмотрела на него, беззлобно и холодно, *Да ладно, ты не первый раз увидел голую девицу; а если твоим соседям это в новинку, то, верно, детей своих они зачинали, не снимая штанов.*

Отца это допекло окончательно, он отвернулся от матери и пошел прочь, лицо даже не красное, а белое, как у мертвеца, и он не сказал больше ни слова, он весь вечер не разговаривал с матерью и весь следующий день. Той ночью Крис лежала в кровати и думала обо всём этом, одна, натянув одеяла до подбородка, ей показалось, будто из глаз отца, когда он смотрел, как она стояла в корыте, глянул на неё ди-

кий зверь в клетке. Словно пламя полыхнуло через двор, оно жгло и жгло, будто она всё ещё стояла там, а он глазел на неё. Она спрятала лицо под одеялом, но забыться не могла, на следующее утро ей уже было невмоготу от всех этих мыслей, дом затих, потому что все разошлись, и она пошла к матери и прямо её спросила, она никогда прежде о таком не спрашивала.

И тут случилось что-то ужасное, лицо матери посерело и за мгновение состарилось, когда она оторвалась от своих хлопот за кухонным столом, с каждой секундой лицо её становилось всё бледнее и бледнее, Крис чуть не сошла с ума, видя такое. *Ой, мамочка, я не хотела тебя расстроить*, воскликнула она, и обняла мать, и крепко прижала её к себе, увидев вдруг, каким бледным и больным стало её лицо за последний месяц. И мать, наконец, улыбнулась ей и положила руки на плечи дочери. *Ты ни при чём, Крис, доченька, это просто жизнь. Нечего мне тебе сказать или посоветовать, девочка моя. Тебе придётся самой разбираться с мужчинами, когда придёт время, рядом никого не будет, никто не поможет.* И потом она, поцеловав Крис, сказала что-то странное, *Когда-нибудь, если я не смогу больше всё это выносить, вспомни мои слова* – и замерла, и засмеялась, и опять стала весела. *Какие же мы обе дуры, ну-ка, сбегай принеси мне ведро воды.* И Крис взяла ведро, и вышла из кухни, и пошла к колонке по горячему, раскалённому от солнца двору, и тут что-то на неё нашло, она прокралась обратно, мягко ступая,

и мать стояла всё так же, как она её оставила, бледная, одинокая, печальная, Крис не решилась подойти, а только стояла и смотрела.

Что-то творилось с матерью, с ними со всеми что-то творилось, всё как-то менялось, кроме, разве что, стоявшего на дворе беспощадного зноя, и если бы он продержался подольше, джунгли Преподобного Кахуна вскоре опять повывлезали бы на полях Долины. Это усталое и бессмысленное ковыряние в земле, жизнь самой земли, бесконечное ожидание – когда, наконец, прольётся дождь или хотя бы утихнет зной!.. Какое же это будет счастье, когда закончатся экзамены и она уедет в Абердинский университет, получит свой диплом бакалавра гуманитарных наук, и вот – у неё уже своя школа, у английской Крис, отец с его потаёнными взглядами и рычанием позабыт, у неё будет красивый дом, свой, и одеваться она будет, как захочет, и никогда своим видом не раздражит ни единого мужчину, уж она об этом позаботится.

А может, не позаботится, странно, что она до сих пор понастоящему не знала саму себя, хотя была уже почти взрослой женщиной. Отец говорил, что соль земли – это те, кто прямо ведут свой плуг и никогда не оглядываются назад, но она пока была лишь распаханым полем, борозды шли вдоль и поперёк, хотелось того и тут же хотелось этого, книги и вся их прелесть иногда казались всего лишь пустой бессмыслицей, а потом навоз и ругань, от которых уже тошнило, возвращали тебя обратно к книгам...

Вздвогнув, она перекатилась по траве, когда мысли её приняли этот неприятный оборот. Закат раскрашивал озеро, но жара стояла прежняя, малость спадая только ночью, когда лежать под одеялом было невыносимо, и даже сама темнота становилась мерзким чёрным одеялом. Ветер — он просто умер, пока она лежала здесь и думала; не великая потеря, но вместо него пришла пустота, кусты дрока к концу дня вытянулись, не шевелясь, огромные их лица, сгрудившиеся, жёлтые, словно лица полчища каких-то жёлтых людей, глядели вниз, за Кинрадди, высматривая дождь. Матери там, внизу, наверное, была нужна её помощь, Дод и Алек уже пришли из школы, отец и Уилл скоро вернутся с поля.

Кто-то уже кричал, звал её!

Она поднялась, и отряхнула платье, и стала спускаться по траве к подножию холма, и посмотрела вниз, и увидела вдалеке, ниже, махавших ей Дода и Алека. Они взволнованно выкрикивали её имя, голоса их походили на мычание телят, потерявших мать, она нарочно шла медленно, чтобы подразнить их, пока не увидела их лица.

А потом она помчалась вниз по склону, кровь отхлынула от её лица, небо позади раскололось, длинная молния зигзагом полыхнула над Грампианскими вершинами, и далеко за полями, у холмов, услышала она шипение дождя. Засуха, наконец, кончилась.



## II

# Боронование

Взобравшись почти бегом по крутому склону холма – с развевавшейся юбкой и твердой решимостью ни за что не оборачиваться, кто бы во всём Блавири ни кричал ей вслед и ни звал её обратно, даже на свист отца! – Крис повалилась навзничь, задыхаясь, и почувствовала, как жёсткая трава с хрустом расстелилась под ней чудным тихим ложем. Она расслабила шею, и плечи, и бёдра, и колени, её длинные коричневые руки подрагивали, лёжа по бокам, пока обмякали мышцы, день погружался в дремоту, золотистый свет просачивался сквозь длинные каштановые ресницы, опустившиеся на её щёки. Словно гномоны<sup>60</sup> гигантских солнечных часов, тени Стоячих Камней тихо ползли к востоку, бекас всё звал и звал кого-то...

Точно как в предыдущий раз, когда она поднималась к озеру – когда это было? Она открыла глаза, и задумалась, и утомилась от раздумий, и опять закрыла глаза, и как-то странно рассмеялась. Это было в июне прошлого года, в тот день, когда мать отравилась и отравила близнецов.

Всё это было так далеко и так близко, казалось, твои часы и дни протекали в какой-то тёмной холодной западне, из ко-

---

<sup>60</sup> Гномон – часть солнечных часов, отбрасывающая тень на циферблат.

торой было не выбраться. Но ты выбралась, тёмная сырость отступила перед солнечным светом, и мир пошёл своим чередом, белые лица и шёпот, одолевавшие тебя в западне, исчезли, ты уже никогда не стала бы прежней, но мир двигался дальше, и ты вместе с ним. Умерли не только мать и близнецы, что-то умерло в твоём сердце и лежало теперь под землей на погосте Кинрадди – в твоём сердце умер ребёнок, дитя, верившее, что холмы были сотворены для того, чтобы оно играло среди них, что каждая дорога, отмеченная по сторонам столбиками, вела туда, куда надо, и что есть руки, всегда готовые подхватить тебя в последний миг и удержать на краю гибельной бездны, если ты уж слишком заиграешься. Всё это умерло, и вместе с этим всем умерла та Крис, что жила книгами и мечтами, или, может быть, ты просто аккуратно сложила их, завернула в шёлковую бумагу и пристроила рядом с тёмным тихим трупиком, который когда-то был твоим детством.

Так сказала ей госпожа Манро из Каддистуна в ту кошмарную ночь, когда она пришла к ним через размокшие от дождя усадьбы Блавири и уложила тело матери и тела близнецов, так тихо умерших в своей кровати. Она снова ла по комнатам, быстрая, нахальная и бесцеремонная, крыса с чёрными бусинками глаз, отрывисто раздавая команды сделать то или это, она навела страху и угомонила разревевшихся Дода и Алека, вытолкала отца и Уилла заниматься скотиной. И делала своё дело быстро, спокойно и равнодуш-

но, и поглядывала на Крис, поднимая на неё свое крысиное личико. *Помяни моё слово, забросишь ты теперь свой Колледж с учёбой – гниль, лучше не марайся. Вот как взвоят на тебя всё хозяйство в Блавири, так на мечты и прочее паскудство времени-то не останется.*

И Крис в своей западне, оглушённая, с затуманенным взглядом, ничего не отвечала, как ей потом припоминалось; и кто-то другой, не она, шарил по дому и искал полотно и одежду. Потом госпожа Манро омыла тело матери и одела его в ночную рубашку, в её лучшую, ту, что с синими ленточками, которую она не надевала уже много лет; и мать после её трудов лежала аккуратная и красивая, так что слёзы, наконец, набежали на ресницы, когда ты увидела её такой, горячие слезы выступили на глазах, словно капли крови. Но они быстро иссякли, если долго так плакать, можно было умереть, и вместо слёз полился долгий бесконечный вой, на который у тебя в голове не было ответа, *Мама, мама, почему ты это сделала?*

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.